Анри Труайя

Охота

Книга подготовлена пользователями библиотеки . Читайте или скачивайте эту и другие книги на сайте библиотеки бесплатно и без регистрации.

Адрес публикации:

Предисловие

Двух персонажей этого романа знают все, ибо они существовали и на самом деле. Первый — это Пушкин, который был убит на дуэли за тридцать два года до того, как начинается мой рассказ, и о котором в это время живет лишь воспоминание. Второй — его противник в земном существовании, барон Жорж де Геккерен д’Антес, или Дантес. Он-то прожил после трагедии много-много лет. Всех остальных я попросту придумал. Однако страшная гибель самого великого из русских поэтов той эпохи настолько потрясла его соотечественников, что безумные фантазии выдуманного мной юного поборника справедливости вполне могли и в реальности оказаться характерными для его ровесников и земляков.

Глава I

Клянусь всем святым, мои страдания уменьшились бы наполовину, учись я не в Царскосельском лицее, а где-нибудь в другом месте. Еще бы! Ведь именно здесь, в Царском Селе, воспитывался наш великий Александр Пушкин: всего полвека назад его одиннадцатилетним мальчиком привезли в это лучшее в Российской империи учебное заведение. И теперь его волшебный и окровавленный призрак тревожит каждого из нас, его посмертных однокашников. Мы гордимся тем, что нас окружают те же стены, в которых прошло его отрочество, мы гордимся тем, что можем гулять по тем же аллеям того же парка — может быть, он именно тут сочинил свои первые стихи… или тут… или тут… Мы гордимся тем, что наши легкие заполняются тем же воздухом, которым дышал он — тогда еще улыбающийся жизни, которая его ждет, совсем юный… Мы учим наизусть — с трепетом, который рожден преданностью, — даже самые коротенькие его строфы, и мы презираем, мы люто ненавидим того, кто убил его на дуэли, убил, когда Солнцу русской поэзии было всего-навсего тридцать семь лет, убил из-за какого-то дурацкого любезничанья на светских приемах… Нам были известны все перипетии трагедии — мы знали о том, что жена поэта, красавица и ужасная дурочка Наталья, отличалась легкомыслием; и о том, что этот кавалергард-француз Жорж Геккерен Дантес принялся за красавицей — ну, совершенно некстати! — ухаживать (впрочем, он так забавлялся — ухлестывая за кем-то в открытую, на глазах у всех); и о подозрительных маневрах его приемного отца, посла Нидерландов в России барона Геккерена; и о распространявшихся по Санкт-Петербургу и посягающих на честь Пушкина, поскольку там говорилось о его якобы несчастливой семейной жизни, анонимных письмах; и о доводящей едва ли не до безумия ярости, охватившей Александра Сергеевича, ответом на которую стало трусливое поведение его обидчика (чтобы, так сказать, очистить себя от подозрений, этот подлец поспешно сделал предложение родной сестре Натальи Николаевны — Екатерине), не переставшего, тем не менее, буквально-таки преследовать свою жертву на глазах всего света; и, конечно, о встрече на Черной речке, роковом выстреле, оцепенении всей России, когда стало известно о гибели поэта, разжаловании и высылке из страны его убийцы…

Когда в 1869 году я покидал лицей, прошло уже тридцать два года со дня гибели Пушкина от пули Дантеса. Но для меня, как и для каждого из нас, питомцев Царскосельского лицея, все это случилось вчера. Пушкин олицетворял для нас прошлое, был для нас самым близким из друзей, он был нашим идолом — и вот рука француза, из милости принятого в российскую армию, разом оборвала такую прекрасную, такую благородную жизнь! Ни одну смерть, даже смерть родных людей, нам не было так трудно принять, так трудно пережить! Припоминаю, что в лицее мы проходили у двери комнаты № 14, которая когда-то была отведена Саше Пушкину, на цыпочках… Разумеется, мы знали, что сейчас за нею спит наш ровесник, ничем не примечательный Морозов, но ведь оттуда, из этой комнатки, так и не ушел призрак Другого! И каждый из нас завидовал нынешнему обитателю комнаты, который вовсе, с нашей точки зрения, не заслужил подобной чести.

Постоянно и повсеместно публиковались дифирамбы Пушкину, воспоминания о Пушкине, толкования пушкинских великих творений… Россия была его вдовой. И все-таки никто так остро не чувствовал потери, как ее чувствовали мы! Едва сев на школьную скамью и почувствовав рядом тень Александра, мы стали воспринимать себя вечными его должниками.

И вот, сдав худо-бедно выпускные экзамены, я был принят, по протекции, в Министерство иностранных дел в чине коллежского секретаря, на ту же должность, что в 1817 году получил выпускник Лицея Александр Пушкин… Речь шла не столько о реальной работе, сколько о синекуре, потому что в то время так чаще всего и случалось с молодыми людьми «из хороших семей», — и на самом деле я являлся в должность не чаще чем через день. А потом вообще попросил об отпуске по состоянию здоровья, каковой мне без долгих разговоров и дали. Правда, я не совсем лукавил: уже какое-то время грудная болезнь не оставляла меня. Пробуждение по утрам сопровождалось приступами мучительного кашля, и этого одного было достаточно, чтобы с легкостью догадаться, как все станет развиваться дальше. Кровохарканье еще не имело места, однако моя матушка сильно тревожилась. С июля 1869 года она была в Париже, но когда наш семейный врач, милейший доктор Гольдман, известил ее о том, что у меня небольшой бронхит, тут же и решила вернуться.

К моменту, когда матушка оказалась снова в Петербурге, все уже прошло, но она сочла, что выгляжу я очень плохо, и страшно разнервничалась — впрочем, матушке вообще было свойственно видеть во всем дурные знаки. Ох… надо быть справедливым: судьба в последние годы отнюдь не баловала мою бедную матушку! Сначала она потеряла мою младшую сестру Ирину — девочка умерла в пятнадцать лет от скоротечной чахотки, а вскоре скончался от апоплексического удара, собираясь сесть верхом на свою любимую лошадь в Михайловском манеже, мой батюшка. Естественно, оказавшись рядом с единственным теперь дитятею, матушка сразу стала с чрезвычайным беспокойством вслушиваться в мое дыхание и меня ощупывать. В то время я был, скорее, чахлым на вид юношей. Длинный, тощий, бледный, щеки запали, глаза горят — не зря, наверное, говорила бывшая моя кормилица Агафьюшка: «Охань-ки, ты просто будто с того свету

голодный явился!»

Матушка вздохнула:

— Господи! Ты же нисколько не поправился с тех пор, как я уехала… Надо кушать получше, Сашенька! Все молочное, хороший кусок мяса с кровью — вот что тебе полезно!

Я ответил, что матушка сама весит не больше перышка, и ведь это не мешает ей выглядеть весьма соблазнительно… Матушка захихикала, услышав подобное мнение взрослого сына, но, надо признаться, она всегда жеманилась, говоря со мной, как будто я ей не сын, но какой-нибудь кавалер на балу.

Обедали мы вдвоем. К десерту матушка попросила принести шампанского — заметив, что пристрастилась к нему в Париже. Когда мы вышли из-за стола, я попросил рассказать о путешествии. Сообщив в несколько фривольном тоне, какова нынче французская мода, и поделившись мнением о последней премьере в «Варьете», матушка вдруг искоса взглянула на меня и прибавила тоном сразу торжествующим и таинственным:

— Ну-ка догадайся, кого я встретила на одном из раутов у графини де Кастельбрунн?

И, видя, что я более чем равнодушен к посетителям графини, воскликнула:

— Барона Жоржа Геккерена д’Антеса!

Я вздрогнул, как от удара:

— Дантеса?! Убийцу Пушкина?!

— Его самого!

— Но ты, надеюсь, не подала ему руки?

— С какой это стати?

— Да как же, матушка!.. Разве ты не понимаешь, что его-то руки — в крови? И правая, та, которую он протянул тебе, держала дуэльный пистолет, а из него…

Матушка не дала мне договорить:

— Побойся Бога! Дуэль состоялась тридцать два года назад!

— Сколько бы времени ни прошло, тяжести преступления это не уменьшает! Для подобных нет срока давности!

Она была сама озадаченность. Подбородок ее задрожал, ресницы затрепетали…

А я стоял на своем:

— Нет, я не понимаю тебя! Тебе известно, *как* вся Россия еще и сейчас оплакивает своего великого поэта, и ты любезничаешь с человеком, который лишил нас нашей национальной гордости, нашей славы!

— Ничего я с ним не любезничала, Сашка! Я просто-напросто была с ним вежлива, не более того!

— Но ты протянула ему руку, ты улыбалась ему, ты говорила с ним… Наверняка ведь было так!

— Безусловно… Но подумай сам… Мы в салоне графини… Это просто светская беседа… А человек такой важный!.. Барон… Сенатор… Знаком со всеми министрами… Приближен к императору… И состояние, по слухам, имеет громадное…

— Короче, убийство Пушкина стало для него счастливым оборотом колеса Фортуны… С тех пор мерзавцу и везет, по-видимому… Ну-ну… — мстительно усмехнулся я.

— Довольно иронии! Любая светская женщина вела бы себя на моем месте точно так же! И уверяю тебя, этот господин в Париже пользуется всеобщим уважением. В приличном обществе вообще — все знают Жоржа Геккерена д’Антеса и никто слыхом не слыхал о Пушкине! Если бы я отвернулась, когда барон был мне представлен, случился бы скандал…

— Но я бы гордился этим произведенным тобой скандалом!

— Ты — да, но только не я сама! Я женщина, Саша, и ваши мужские дела меня не касаются.

Помолчав, матушка добавила:

— Ты на меня сердишься?

— Да, матушка.

На ее глазах выступили слезы — ни дать ни взять девочка, застигнутая на месте преступления. Я видел уже матушку такой — когда батюшка принимался упрекать ее в ветрености, забывчивости или ругать за необдуманный поступок. Кончина мужа не сделала ее зрелым человеком. Все так же прелестна и все так же безрассудна! Я был не в силах вынести вида сразу же увядшего лица ее, покрасневших век, надутых дрожащих губ — и принялся утешать матушку:

— Будет, не стоит об этом думать!..

Попытался и сам не думать, но оказался задет куда сильнее, чем полагал. Вечером, перед тем как улечься спать, я поглядел в зеркало: у меня оказались безумные глаза. Мысль о том, что убийца Пушкина процветает, что его осыпают почестями, жгла мне сердце. Всю ночь я не мог глаз сомкнуть.

А наутро с трудом удержался от того, чтобы продолжить вчерашнюю дискуссию с матушкой. Легкомысленная и невоздержанная на язык, она уже забыла о нашей размолвке и, радуясь тому, что можно вернуться к русским привычкам, занималась домашними делами. Ничуть не переменилась. Зато я — как сильно!.. Я другой теперь, ну, совершенно другой!.. Мысль о встрече матери с Дантесом преследовала меня как кошмар.

В следующее воскресенье намечался великий день: мы с лицейскими товарищами решили отметить банкетом недавний выпуск из Лицея: все-таки провели вместе в Царском Селе ни много ни мало шесть лет. В отдельном зале модного ресторана на Мойке собралось пятнадцать человек, трапеза сопровождалась воспоминаниями о прожитых бок о бок годах и такими взрывами хохота, что тряслись стены. Весельчак Горелкин, всегдашний заводила в нашей компании, до того хорошо показывал, как заикается на каждом слове, блеет и подергивает носом наш преподаватель права Клементьев, что я просто своими глазами видел знаменитого юриста с обезьяньей мордочкой пирующим с нами за одним столом. Зорин читал комические вирши собственного сочинения, вирши были полны игривых и даже непристойных аллюзий и заслужили овации. Фюш к месту и не к месту вспоминал какой-нибудь скоромный анекдотец… И мы были более чем свободны, говоря о женщинах.

Кое-кто уже завел себе любовниц — танцовщиц из кордебалета или девиц легкого поведения, но я нет. Я оставался девственником. Ни единого романтического приключения, ни единого сентиментального порыва! В самом деле, не считать же амурами наши отношения с Валерией Смирновой — моей кузиной, пусть даже в семье и поговаривали, что когда-нибудь потом мы поженимся. Однако между нами не было ничего, кроме такого бледного, что невооруженным глазом не разглядишь, флирта, кроме нормального для наших лет обмена улыбками, перешептываниями и рукопожатиями — право же, разве могла идти речь об интрижке при столь невинных отношениях! Да Валерия мне и не нравилась совсем! Она всегда была какая-то белесая, преждевременно увядшая и поникшая — похожая на цветок, который неделю забывали полить… И грудь у нее не только не привлекала пышностью, но напротив — у доски, как мне казалось, и то более волнующие очертания. Да, унылый, донельзя унылый облик… Я же мечтал о бурной страсти, о ложе любви со смятыми простынями, разделенном с кабацкой певицей… такой хотя бы, как та цыганочка, которую Зорин, по его признанию, оспаривал у одного генерала от инфантерии. А может, он привирал? Хотя… хотя — нет: он ведь приводил такие подробности ночей с этой чертовкой, что у нас слюнки текли и щеки пылали! Тем не менее, вскоре мы бросили перечисление любовных подвигов, лица у всех сделались серьезными, и мы выпили за здравие — пусть даже и в ином мире — бессмертного Пушкина.

И вот тогда взял слово я. Мои однокашники уже расслабились, развалились на стульях — кто менее, кто более опьяневший… На столе с изрядно помятой к тому времени скатертью валялись перевернутые бокалы, стояли наполовину опустошенные бутылки, грязные тарелки и пепельницы, в которых уже не помещались окурки… Густой синий дым клубился над головами и целомудренно скрывал прелести обнаженных нимф из курса древнегреческой мифологии — такова была тема фресок на стенах нашего зала… Иными словами, обычная картина обычного праздника радости жизни! Но вот, глядя в лица хмельных, веселых моих товарищей, я принялся рассказывать о встрече моей матушки с Жоржем Дантесом — рассказывать коротко, только самое главное. А главное было в том, что, на мой взгляд, для русских людей нестерпима блестящая карьера убийцы нашего величайшего поэта. И тут все раскричались, все стали меня поддерживать, все осыпали бранью бесстыжего французишку и клялись до последнего вздоха прославлять память знаменитого нашего предшественника по императорскому Лицею. Немедля была предложена сотня способов увековечивания памяти Пушкина: устраивать в его честь литературные вечера; способствовать изданию его последних сочинений; открыть подписной лист для сбора денег на достойную Солнца русской поэзии статую…

Вокруг проектов разгорелся жаркий спор. Подогретые выпитым лицеисты, среди которых был и я

сам, дошли до такой степени экзальтации, что и самый смысл своего существования видели уже исключительно в том, чтобы служить этому литературному и патриотическому культу, нами же и сотворенному. Желая придать торжественности общему решению, мы приказали подать салатницу, полную пунша, зажгли эту адскую смесь, встали в кружок, протянув руки над синим пламенем, и хором произнесли клятву — с такой убежденностью и таким благоговением, будто находились в царскосельской церкви. Затем каждый выпил свою чашу до дна и — разбил ее о стенку.

Когда мы расходились по домам, колени наши были нетверды, а головы пылали, словно в лихорадке. Нам казалось, что наше братство стало еще крепче, еще тесней, чем было в стенах обожаемого нашего Лицея. Мы стали не просто группой друзей, мы стали членами одной семьи, одного клана. Назавтра я отправился к ювелиру и заказал ему пятнадцать железных колец с печаткой, на шатоне попросил выгравировать инициал «П», под ним — «1799–1837» — две даты, между которыми вместилась короткая и прекрасная жизнь нашего кумира. Получив заказ, я тотчас же разослал с курьерской службой эти кольца «доблестным рыцарям» нашего тайного ордена.

Однако удовлетворения сделанным не было, радости эта церемония посвящения не принесла — шло время, а в моем мозгу все так же пылал «пламень голубой» пунша. Пушкин, мой драгоценный Пушкин, стоял у меня за спиной, подталкивал меня, требовал, чтобы я исполнил свой долг перед ним, чтобы отомстил за его гибель. Но я еще колебался.

Однажды ночью, то впадая в дрему, то внезапно просыпаясь, я внезапно почувствовал, что на меня снизошло озарение — нервы мои тут же расслабились, будущее прояснилось. Столь озадаченный, столь смятенный совсем еще недавно, я ощутил вдруг, что целью моей жизни отныне станет безотлагательная и сказочная, поистине сверхъестественная миссия: я должен отправиться в Париж, встретиться там с Жоржем Дантесом, объяснить ему его вину и убить негодяя. Нет, не на дуэли, а неожиданно для него, пристрелить как бешеную собаку. Этот благородный поступок исправит ошибку судьбы и вызовет в мой адрес восхищение всех моих сограждан. А может быть, я и рожден-то на свет только ради того, чтобы совершить этот священный акт возмездия? Возможно, быть поборником справедливости, орудием мести — единственное мое призвание, именно в этом причина моего появления на свет Божий?

В течение нескольких недель я только и делал, что обдумывал свой грандиозный план. Стоило сомнениям закрасться ко мне в душу, я тотчас же прикладывал губы к шатону железного своего перстня, счастливое это соприкосновение проливало прохладу на мою воспаленную голову, и я чувствовал себя в раю. Матушка ни о чем не подозревала. А я готовился к прыжку в пустоту.

В день, когда мне исполнилось двадцать лет, я пожаловался на необычайную усталость, притворился, что меня одолевает кашель, и в конце концов объявил, что нуждаюсь в отдыхе и лечении. Где? В какой-нибудь теплой стране — скажем, во Франции… Испуганная донельзя матушка безотлагательно вызвала доктора Гольдмана. Сей милейший эскулап, оказавшийся не в силах вылечить мою сестренку, когда бедняжка умирала от скоротечной чахотки, поостерегся на этот раз выказать неуверенность или же увернуться от ответа. Он так боялся второй смерти на совести, что простучал мои спину и грудь лишь ради проформы и вынес заключение: молодому человеку срочно и настоятельно требуется полный покой с длительным лечением в теплом и сухом климате. Предложил на выбор Крым и юг Франции. Я, натурально, выбрал второй вариант. Матушка, конечно же, согласилась и — проливая слезы, испуская тяжкие вздохи и осыпая меня полезными советами — принялась готовить мой отъезд. Мы договорились, что я остановлюсь в санатории некоего доктора Лежандра, считавшемся наилучшим местом лечения для легочных больных. Но я оставил за собой право — до того, как обоснуюсь в Ницце — некоторое время пробыть в Париже, якобы для того, чтобы поклониться красоте этого города и посетить несколько театров. Матушка сей же час предложила, что поедет со мною, однако ее присутствие помешало бы выполнить истинную мою задачу, потому я постарался втолковать любящей моей родительнице, насколько бессмысленно это новое ее путешествие. В душе матушка была даже и рада, ибо ей не терпелось принять участие в санкт-петербургских светских развлечениях нового сезона, так что уговорить ее оказалось вовсе не трудно.

И я собрался в путь один.

Соответственно намеченному мною плану, я должен был отправиться морем из Кронштадта в Штеттин, там сесть в поезд и доехать на нем через Берлин до Парижа. Дата начала моего плавания была назначена: 15 октября 1869 года.

Накануне я в последний раз собрал своих братьев по железному кольцу. Хотя атмосфера на нашем прощальном ужине царила самая что ни на есть теплая и непринужденная, настоящей своей цели я товарищам не открыл. Пусть она останется тайной — нашей общей тайной, тайной, которую будут знать только Бог, Пушкин и я! Глядя на мое серьезное лицо, все и так поймут, что намерения у меня самые что ни на есть основательные, что одержим я планами, можно сказать, грандиозными… Мы расстались с однокашниками, и я двинулся по улице, чувствуя себя солдатом, которому предстоит выйти под открытый огонь противника. Что со мной станет? Прославлюсь? Погибну? А может быть, мне суждено сразу и то и другое? Дуэли не будет, но разве Жорж Дантес позволит

застрелить себя, как дикого зверя? — нет, конечно же, он использует все средства для защиты. Это молодость не боится смерти, старость еще как боится! И в любом случае замышляемое мной безумное предприятие — лучшее средство вывести из тени пока еще скромное, мало кому известное имя — Александр Михайлович Рыбаков. Мое имя. Обо мне узнают потомки. Ведь как было с писателем Лермонтовым? Он стал знаменит, когда написал мстительные стихи по поводу гибели Пушкина, а потом и его самого убил родственник одного из врагов поэта! Я готов, я тоже готов рискнуть своей свободой, самой своею жизнью ради того, кого избрал себе образцом для подражания, ради того, кто с первых дней в Царскосельском лицее стал моим Вергилием… Отомстить за него — вопрос душевной опрятности, вопрос морали, дело чести и совести, так как же я могу отказаться от этой мести!

Матушка проводила меня в Кронштадт, мы расстались на пристани. Корабль стоял у причала, пассажиры уже потянулись гуськом на борт, неуклюже поднимаясь по наружному трапу. Когда наступил мой черед, меня грубо оттолкнули от сходен носильщики с грузом. Заморосил холодный осенний дождь. Матушка раскрыла над головой черный зонтик с кружевом по краю и стояла, плача, у парапета набережной. Я подбежал к ней, нежно ее обнял. Никогда еще матушка не казалась мне такой маленькой, такой хрупкой. Когда я обнимал мою родную, когда прижимал к сердцу, мне казалось, будто я чувствую каждую косточку ее полудетского скелета. А она вдруг отстранилась, осенила меня крестным знамением и прошептала:

— Храни тебя Бог, Сашенька!..

Словно что-то поняла, о чем-то догадалась. Ну как мне было в тот же момент не подумать, не абсурдно ли это мое путешествие, не пожалею ли я о том, что делаю, едва оказавшись в открытом море. Тем не менее было уже поздно, поздно… Отступать некуда, незачем… да и не в силах я отступить… Огромные колеса с плицами, высокая труба, выпускавшая в небо сизый дым, команды морских офицеров, подаваемые в рупор, плеск волны — все приказывало мне: иди! иди вперед! Я стал рабом той самой свободы, которой так страстно желал.

Глава II

Прибыв в Париж после ничем, кроме мелких таможенных придирок пока ехал по Бельгии, не примечательного пути, я поначалу устроился в маленьком отеле на Шоссе д’Антен. Но вскоре, следуя советам владельцев ближайших к этому кварталу лавок, стал искать себе меблированную комнату — и нашел одну, весьма подходящую, на улице Миромениль. Хозяйка моя, мадам Патюрон, отличалась дородностью и напоминала гренадера как статью, так и дерзостью взгляда. От голоса ее закладывало уши, но тем не менее это была сама доброжелательность, само гостеприимство. Я тут же получил от нее комплимент за то, что слежу за собой, равно как и за чистоту моего французского. Последнее утверждение соответствовало истине: моя добрая гувернантка, прибывшая в свое время из Швейцарии, а за нею — преподаватели в Царском Селе приложили немало усилий к тому, чтобы я овладел языком Вольтера не хуже, чем языком Пушкина. Кстати, эту историю моей жизни я пишу тоже по-французски, и не случайно, конечно же… Я нисколько не страдал от переезда и вообще едва заметил, когда мы пересекли русскую границу и углубились в чужие страны. Климат здесь оказался превосходный, атмосфера теплая, жизнь моя тут протекала без сучка без задоринки… ну, по крайней мере, я старался убедить себя, что это так, дабы подстегнуть, для храбрости.

Соседом моим в уютной квартире на улице Миромениль оказался рыжий молодой человек, подвижный и постоянно находившийся в боевой готовности. Неудивительно: этот субъект с беличьим взглядом подвизался в журналистике и более или менее регулярно помещал свои статейки в газете «Siecle», а жил на деньги, присылаемые родителями, бакалейщиками из Бордо. Звали его Даниэль Дерош, но он уверял — да просто настаивал на том, что это именно так! — будто его фамилия пишется раздельно, дескать, она дворянская. Вот такая: де Рош. Забавный малый! Впрочем, Даниэль сразу же отнесся ко мне, как к старому другу, только вот стал жадно расспрашивать о цели моего приезда. Что ж, пришлось поведать новому приятелю, будто меня одолевает безудержное любопытство, будто я заядлый турист, — он поверил и прекратил расспросы. Более того — предложил стать моим гидом в экскурсиях по французской столице. Но это милое предложение было отклонено: поблагодарив, я ответил, что предпочитаю открывать для себя чужие города, так сказать, наугад, бродя пешком, причем именно в одиночку, только в одиночку. Посудите сами, неужто я мог открыть этому постороннему человеку, пусть даже и проявившему ко мне симпатию, совершенное безразличие к Парижу, мог ли я сказать прямо, как равнодушен к прославленным дворцам, монументам, храмам, насколько мне наплевать на репутацию знаменитых театров… мог ли я сказать, что единственная моя забота — войти в окружение Дантеса? или — д’Антеса, как принято здесь его именовать…

Где убийца Пушкина обитает? Каков его образ жизни? Разумеется, можно было бы навести справки в русском посольстве, но это помешало бы успеху моего предприятия, и я сторонился любых российских учреждений, где, натурально, паслось немало шпионов, так что о попытке добыть там необходимые мне сведения и речи быть не могло!

В конце концов я сообразил, что газетный писатель может быть мне в этом весьма полезен, и самым рассеянным, небрежным тоном поинтересовался у Даниэля де Роша, жив ли и если жив, то чем и где занимается некто Дантес, на что мой любезный сосед, проконсультировавшись со своими редакторами, дал четкий ответ: почтенный сенатор Жорж де Геккерен д’Антес проживает в построенном несколько лет назад на авеню Монтеня собственном особняке. Я тотчас же перевел разговор на другую тему, фамилия д’Антеса в наших беседах больше никогда не прозвучала. Потому что можно было начинать охоту.

Назавтра же я отправился прогуляться на авеню Монтеня. Что за странный квартал! Совершенно новенький, совершенно какой-то прозрачный. Дома здесь были в самом современном стиле, но расставлены как попало, в самом что ни на есть причудливом беспорядке. Казалось, все представители сливок общества обзавелись здесь домами. И какими домами! Вот якобы ренессансный дворец, а рядом — вилла с прицелом на Помпеи, достаточно взглянуть на ее стройную колоннаду… По соседству с богатым и вполне современным особняком, снабженным множеством украшений, — особняк в мавританском стиле, укрытый в глубине сада… Строгий величественный монастырь, и тут же — зал для занятий гимнастикой… Но из всех этих многообразных строений меня интересовало лишь одно: под номером 27.

Здесь ворота были распахнуты, я решился войти и оказался посреди мощеного двора, в глубине которого высилось красивое трехэтажное здание со сводчатыми окнами, задернутыми изнутри светлыми шелковыми занавесями. Парадный подъезд представлял собою высокое — в восемь ступеней — крыльцо с навесом в виде маркизы из орнаментированного стекла. На том крыле строения, что протянулось налево от входа, я заметил скромную табличку, извещавшую о том, что в полуподвале можно найти консьержа.

Однако консьержа я не стал тревожить. Не осмелился. И удалился с неприятным ощущением, какое испытывает, должно быть, начинающий грабитель, впервые отправившись посмотреть на место своего будущего преступления. Итак, здесь, сколотив состояние, окопался человек, которого я

намерен убить…

Довольно еще долго я прохаживался по тротуару у входа в сию неприступную крепость. Все было заперто. Никто не входил. Никто не выходил. Здание помещалось на углу авеню для господ с нищенской, на первый взгляд, улочкой под названием «проезд Двенадцати Домов».

В непосредственной близости, просто-таки в двух шагах от изящных фонтанов круглой площади близ Елисейских Полей, я открыл квартал, где ютились, вероятно, рабочие, конюхи и прочие мужланы, равно как и просто нищие попрошайки бок о бок с козьими пастухами… И он, этот квартал, этот, по существу, обычный проулочек, составлял такой разительный контраст с чванливой, выставленной напоказ роскошью соседних жилищ, что мне стало даже как-то стыдно за тех, кто выбрал это место, чтобы воздвигнуть здесь символы своего богатства и своего положения в обществе.

Повернувшись спиной к особняку Жоржа д’Антеса, я стал подниматься вверх по авеню Монтеня, не слишком хорошо понимая, куда ведет меня нетерпение. И таким образом добрался до злачного местечка, о котором рассказывал как-то Даниэль де Рош: танцевальный зал «Мабилль». Увеселительное это заведение находилось совсем неподалеку от особняка Жоржа д’Антеса — вероятно, тут можно будет получить хоть какую-то информацию о нем, подумал я. Спокойно вошел — никому и в голову не пришло спросить, зачем мне, миновал сад, миновал большой парадный зал с пока еще не накрытыми столами. Было еще слишком рано для начала празднества, однако сотни шарообразных стеклянных колпаков уже светились газовым светом среди искусственных пальм, коими был обильно украшен зал. Стены были обиты красным дамастом. Повсюду виделись зеркала и цветы. Несколько официантов в белых передниках поверх черных костюмов суетились у буфета. На оркестровой эстраде лениво рассаживались музыканты, спорили о чем-то между собой, жевали бутерброды. С полдюжины проституток прогуливались в ожидании клиентов. Одна из них — ярко накрашенная, самого возбуждающего, как ей, видимо, казалось, облика — двинулась ко мне, уперев руки в бедра. Взгляд у нее был зазывный:

— Месье угодно?

Какой хриплый у нее голос…

— Нет… нет… — забормотал я. — Ничего не нужно, я просто так зашел, из любопытства…

— Ну и раз уж зашли, так распахните глазенки-то пошире!.. Тут отлично, а?.. Вы иностранец?

— Да.

— И откуда же такой сладкий?

— Из России.

— Так я и думала — по акценту. У нас тут бывает много русских. Очень, очень милые мужчинки. Ценят французскую веселость. Хотите столик заказать?

— Нет… нет, мне пора уходить…

Но внезапно я передумал и, преодолев робость, спросил:

— А вы знаете тех, кто часто приходит сюда потанцевать?

— Кому же знать-то!

— И что, те, кто в этом квартале живет, тоже приходят?

— Случается… Так, среди других…

— Думаю, вам известен живущий по соседству некий барон Жорж де Геккерен д’Антес…

— Не скрою, наслышана…

— А вот он — приходит сюда на балы?

Она расхохоталась прямо мне в лицо:

— Ой, насмешили! Да вы что? Он же знатный, богатый… Уж скорее вы его встретите в Тюильри, или там… в Сенате, или даже в Имперском Клубе… Да, там!

— А где этот Имперский Клуб?

— Господи, вот уж чего знать не знаю, да и зачем бы? Дорогой мой русский господин, в Париже

есть множество других прекрасных мест. А у меня вот есть еще целый час свободного времени перед началом. Пошли-ка лучше ко мне — это тут рядом!

Девушка взяла меня за руку. Ее ярко-красные, в жирном слое помады губы шевелились близко к моему лицу, мне показалось, что отказать ей было бы невежливо… Нет, конечно же, ни одна женщина не заслуживает подобного обращения! Впрочем, она и не страшная вовсе: брюнетка, черноглазая, душистая кожа, пухлый рот… А она уже шептала мне на ухо:

— Ты такой милашка, похож на мальчика-с-пальчика, которого завели в темный лес… или на ангела, запутавшегося в своих крыльях… Ну, давай, давай, смелее… Меня зовут Аделина, можно — Адель…

И я тут же вспомнил стихотворение Пушкина, посвященное девочке-подростку, которая носила это имя:

Играй, Адель,Не знай печали.Хариты, ЛельТебя венчалиИ колыбельТвою качали.Твоя веснаТиха, ясна:Для наслажденьяТы рождена.Час упоеньяЛови, лови!Младые летаОтдай любви…

Ах, какое совпадение, какое совпадение!.. Я не смог отказаться — я пошел за нею. На улице она меня поторопила:

— Надо все сделать по-быстрому! Сейчас возьмем гроб с музыкой!

Что еще за гроб? Выражение меня озадачило. Видя это, моя спутница захихикала:

— Держите меня, он не понял! Ах ты, мой голубчик! Фиакр! А ты что подумал? Ох, сразу видно, что ты не из нашего прихода!

Наемные экипажи стояли у входа в танцевальное заведение. Мы с Аделью взяли тот «гроб с музыкой», что стоял первым в ряду. Пряный аромат, распространявшийся от моей спутницы, заполнил весь салон. И в мире не стало ничего, кроме этого запаха разгоряченной женщины. Адель протянула мне губы. Задыхаясь, с замиранием сердца, почти теряя сознание, я впился в эти губы, и наш поцелуй продолжался все время, пока мы не прибыли на место. Очнулся я только в незнакомой комнате, не помня, как заплатил вознице, поднялся по ступенькам и закрыл за собой дверь, когда мы с Аделью вошли. Она ловко скинула с себя все одежки, помогла мне справиться со своими и, улегшись на спину с раздвинутыми ногами, лукаво смотрела на меня и призывно раскрывала объятия.

Я никогда еще не видел обнаженной женщины. Те, которых изображали на живописных полотнах, были всегда гладкими от шеи до пяток. Везде гладкими, совершенно гладкими. У Адели же из подмышек торчали пучки черных кудрявых волос, такие же волосы вились на лобке, и это показалось мне аномалией. Кровь моя заледенела в жилах. А это коварное создание уже укладывало меня прямо к себе на живот… и дальше я ничего не помню… помню, что она руководила каждым моим движением, направляла меня, и так — до последнего освободительного содрогания… А когда все закончилось, сказала с улыбкой:

— Девственник! Я была в этом уверена! Вот и отлично, значит, везти теперь будет — весь год!

Я был разочарован. Значит, вот как все бывает… Краткое содрогание, недолгое ослепление… А мои друзья по Царскому Селу уверяли, что *это* открывает им двери в рай… Наверное, я просто не умею взяться за дело как следует… Адель предложила попробовать еще разок, но я не захотел, отказался. Не потому, что был пресыщен, нет, мне казалось, что такое грубое, такое вульгарное наслаждение меня недостойно. Бесстыдно предложив себя, эта опытная женщина отклонила меня от моего намерения, от моей миссии. А я не такой, как другие. Я поборник справедливости, поборник же справедливости не позволяет себе развлекаться, не сделав дела, которому выбрал служить. Я повторял и повторял себе это, а в голове крутилась мыслишка о том, что сам-то Пушкин вовсе не отказывал себе в таких животных удовольствиях. Ходили слухи, что он был весьма охоч до физической любви. Адель смотрела на меня, сверкая белыми грудями, руки она подложила под затылок, на губах бродила насмешливая улыбка, а я… я путался в брюках, не способный вставить ногу в штанину.

— Ну и как? Тебе понравилось? — спросила наконец она.

— О да… — пробормотал я. — Дивно, дивно, чудесно… Благодарю вас…

— Придешь еще?

— Не знаю… может быть…

Я был багровый от смущения, руки мои дрожали. Может быть, это сам д’Антес, этот посланец Сатаны, этот дьявол во плоти, подослал мне гурию, чтобы отвратить от цели? Я задумался, ждет ли девушка оплаты за подаренные мне радости, и если да, то — сколько надо ей заплатить. Двадцать франков? Или пятьдесят? Я неуверенно достал из кармана три луидора. Она, смеясь, приняла их:

— Как тебя звать-то, мой принц?

— Александром.

— Вот и ладно, успеха тебе у женщин, Александр! А мне пора возвращаться туда, в танцевальный зал. Меня там ждут. Давай-ка подвезу!

Она говорила так властно, словно точно знала, что я не могу не подчиниться. Я и подчинился. Новый фиакр доставил нас на авеню Монтеня. Разливы оркестровой музыки были слышны издалека. Мелькнула мысль, что этот грохот должен помешать мирному сну Жоржа д’Антеса. Но может ли Дантес спать спокойно после того дня, как он столь сознательно, столь злодейски застрелил Пушкина? У него же на совести убийство!

Входной билет в «Мабилль» стоил для кавалеров пять франков, для дам — один франк. Танцевать на улице было уже слишком холодно, зато внутри, в помещении — что за жара, что за сутолока, что за грохот! Пестрая, разноцветная толпа трясется, будто в лихорадке, женщины напропалую виляют задом в бешеном ритме *«chahut»* — как он все-таки малопристоен, этот танец, придуманный в середине века, по-русски для него и названия-то нет никакого… Юбки летят по воздуху, рты смеются, лбы от непрерывного адского кружения покрыты потом… Женский визг время от времени перекрывает звуки оркестра… На родине я никогда не присутствовал при подобном безобразии, никогда не был в таком месте. И, глядя на стольких людей с безумно-радостными взглядами, думал, а не провалился ли я внезапно в ад наслаждений? Именно что в ад, не вознесся в райские кущи! Эти люди, беззаветно преданные пустяку, ерунде, какую вину искупают они здесь, в самом пекле? Воздух провонял мерзкими духами. Публика совершенно явно состояла в основном из легкодоступных и падких на удовольствия лореток, девиц на час, сбитых с панталыку буржуа, лжеденди, ищущих фортуны, идущей прямо в руки… Адель словно наэлектризовали: просто-таки застоявшаяся цирковая лошадь, которую выпустили наконец на манеж. Она немедля меня бросила, пойдя за седеющим толстячком с усами и бакенбардами, на пузе которого висела в два ряда золотая цепь с довольно грубыми звеньями, вся сплошь завешенная брелоками. Удаляясь, моя странная подруга послала мне знак рукой, потерев пальцами так, будто сминала шелковую бумажку. Что бы это такое могло быть? Но что бы то ни было, едва она скрылась из виду, я направился к двери.

На улице моросило, вскоре дождь разошелся всерьез. Было страшно трудно нанять экипаж, чтобы добраться домой, на улицу Мироменилъ. Здесь, в коридоре, ведущем в мою комнату, я столкнулся с Даниэлем де Рошем, выходившим из своей. Он провел вечер во Французском театре, и отчет его прозвучал так: не стоило даже из дому выходить! А когда узнал, что я только что из танцевального зала «Мабилль», стал меня поздравлять:

— Это одно из самых посещаемых в столице мест! Там собираются и сливки общества, и отбросы его. Ну, нашли обувку по ноге?

— Слишком громко сказано, — пробормотал я в ответ.

— Но на завтра есть хоть что-то многообещающее?

— Ничего.

— Как жаль!

Даниэль смотрел на меня, словно бы по-братски сочувствуя.

И я вдруг спросил — неожиданно для себя самого:

— Не знаете ли адрес Имперского Клуба?

— Как же не знать! Буасси-д’Англа… А зачем вам?

— Да так, я же путешественник, турист — вот и любопытствую… Наверное, ужасно изысканный клуб?

— О да! На мой взгляд, самый изысканный из всех!

— И попасть туда, конечно же, страшно трудно?

— Точно, черт побери! А вам бы хотелось попробовать?

— Да что вы! Разумеется, нет! — поторопился я с ответом и добавил: — Говорю же, любопытен без меры.

— Все члены этого клуба — люди архиизвестные с архипрекрасными рекомендациями таких же архиизвестных лиц, — заметил он, окончательно меня разочаровывая. Сроду мне не попасть в такой клуб!

Но я на всякий случай уточнил:

— Говорят, барон Жорж де Геккерен д’Антес членствует в этом клубе?

— Меня бы это ничуть не удивило. Я много чего узнал о нем в редакции своей газеты. Но с какой стати он так вас интересует?

Я испугался, что выдал себя, что перегнул палку.

— Матушка с ним встречалась тут, в Париже, несколько месяцев назад, — сказал я тупо, но нельзя же было не объясниться. — И она рассказывала мне о нем как о человеке совершенно очаровательном.

— Ох, не то слово, не то слово! — воскликнул Даниэль. — Тут не просто в обаянии дело. У него громадный вес в политике, коммерции, промышленности. Он Генеральный советник департамента Верхний Рейн, сенатор с жалованьем тридцать тысяч франков в год, он приближен к императору, что, естественно, использует для продвижения своих дел. Это он настоял на необходимости строительства первых железнодорожных линий в Эльзасе — ну, разумеется, вместе с братьями Перейр. Всех этих чертовых финансистов вы найдете в страховых компаниях, морских, в банках… И везде они только и делают, что набивают свои карманы. Ваш барон создал, кажется, даже Парижскую газовую компанию и стал сам ею руководить. Вот шельмец! Можно подумать, он в сорочке родился!

Я слушал, как мой сосед перечисляет успехи Дантеса, и мозг мой постепенно закипал. И накатывал гнев. Чем больше я узнавал о фантастическом везении моего врага во всех областях жизни, просто во всем, тем сильнее его ненавидел. Если бы он влачил свои дни в скромности, в скудости, возможно, я не нашел бы в себе мужества его устранить? Однако мало-помалу персонаж этот вырисовывался в моем воображении все ярче, все убедительней — со всем своим могуществом и со всеми своими отталкивающими свойствами. Любопытству моему уже было не остановиться, и я перебил Даниэля:

— Но… но знаете ли вы хоть что-то о его личной жизни?

— Почти ничего, — отвечал Даниэль. — Тут он крайне сдержан. Мало появляется в свете. Слышал, будто он потерял свою супругу и, хотя мадам д’Антес скончалась уже более четверти века назад, больше не женился, а дети его и внуки вроде бы живут вместе с ним на авеню Монтеня. Вот и все, что мне известно, да и то, повторяю, по слухам. Да расскажите же лучше, что было в танцевальном зале! — без всякого перехода воскликнул сосед. — Вам понравилась непринужденность… хм… разнузданная атмосфера этого Богом проклятого места?

— Да как сказать… и да, и нет… я скоро ушел оттуда.

— Понимаю, понимаю… Нет ничего однообразнее разврата! Ладно, доброй вам ночи, друг мой! И не глядите во сне на одалисок, которых там встретили.

Я расхохотался и заверил его, что ни одна из этих дам не взволновала меня до такой степени, чтобы осаждать мои сновидения.

И тем не менее, стоило улечься в постель, воспоминание об Адели нахлынуло на меня, и видение было столь ясным, что немного бесило. Но, с другой стороны, какой двадцатилетний юноша не хранит хоть сколько-нибудь благодарности к той, кто его просветила? Все во мне говорило о том, что это она, она превратила меня из мальчика в мужчину. Я опасался только, что знакомство с физической, телесной любовью отразится на моем поведении в качестве рыцаря правого дела. Смогу ли я оставаться столь же решительным теперь, когда узнал плотские радости? Устою ли против искушения предать Пушкина ради Адели? Я никак не мог отделаться от мысли о том, что женщина привязывает к себе мужчину лишь из тайного желания его обезоружить. И мне казалось, что женщина — истинный, природный враг величия души.

В комнате было холодно. Ледяной ветер задувал во все щели, во все зазоры. Я вертелся под одеялами, гордый своей доблестью в любви и пристыженный тем, что забыл о Пушкине, пока лежал в постели с Аделью. Ни заснуть, ни хотя бы успокоиться так и не смог, зажег лампу, стоявшую у изголовья, вытащил из дорожного несессера маленький, переплетенный в сафьян томик (избранные сочинения *моего* Поэта) и раскрыл его наугад. Грозные строки «Кинжала» так и бросились мне в глаза. Это лирическое обращение к оружию с поручением смыть все обиды, все оскорбления, все

несправедливости показалось мне наделенным пророческим смыслом. Я вполголоса, самому себе, прочитал знаменитое посвящение автора убийственному клинку, светящемуся в тени того, кого он намеревается убить… кого ему хотелось бы уничтожить…

Лемносский бог тебя сковалДля рук бессмертной Немезиды,Свободы тайный страж, карающий кинжал,Последний судия позора и обиды!Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона,Свершитель ты проклятий и надежд;Таишься ты под сенью трона,Под блеском праздничных одежд.Как адский луч, как молния богов,Немое лезвие злодею в очи блещет,И, озираясь, он трепещетСреди своих пиров.Везде его найдет удар нежданный твой:На суше, на морях, во храме, под шатрами,За потаенными замками,На ложе сна, в семье родной…

Как обычно, Пушкин точно воспроизвел мои мысли в словах, осветил мне путь… Ведь подумать только: ни разу не было, чтобы в таких случаях не открылось его мистическое, сокровенное, его магическое влияние на меня! И что бы там ни было, я должен ему повиноваться. Беспрекословно. От этих рассуждений моя тревога улеглась, но глаз было все равно не сомкнуть. Я встал, надел сорочку и принялся писать матушке — о том, как мне нравится Париж, о том, что здоровье потихоньку улучшается, и о том… о том, что единственные сожаления вызывают у меня обстоятельства, которые до сих пор не позволили мне встретить никого из тех особ, коим матушка хотела меня представить, а напоследок — что не забыл о необходимости переезда в Ниццу. Уточнил: в один из ближайших дней.

На самом-то деле у меня не было ни малейшего намерения туда перебираться, но нельзя же было не успокоить оставленных мною в Санкт-Петербурге дорогих сердцу людей: им еще придется настрадаться, когда откроется истинная цель моего путешествия во Францию. Написал я и кое-кому из нашего царскосельского братства, но без единого намека на Жоржа Дантеса. Любое, даже самое мимолетное признание на подобную тему могло провалить все дело. Чем дольше я остаюсь один, тем сильнее становлюсь. Подписав и высушив чернила на последнем письме, я снова улегся в постель и теперь уже — когда с совестью все стало в порядке — мгновенно рухнул в сон и спокойно проспал до самого утра.

Глава III

Нет, не мог это быть никто другой! Высокий, дородный, одетый в просторное, с меховым воротником пальто табачного цвета, в цилиндре на голове, он тяжело спускался по ступенькам парадного крыльца. Откуда бы взялся в его собственном особняке еще кто-то подобный? Лакей распахнул перед ним дверцу коляски с откинутым, несмотря на холодную погоду, верхом, помог усесться поудобнее. А я, устроившись почти что в самих воротах, жадно следил за тем, что происходит во дворе.

Однако ко всему еще время было не самое подходящее: сумерки и туман спустился — черты Жоржа Дантеса мне едва удалось разглядеть. Коляска тронулась с места, проехала мимо меня, подрагивая на камнях мостовой, и свернула на авеню Монтеня, чтобы устремиться дальше в направлении круглой площади у Елисейских Полей. Куда это он? Может быть, в Имперский Клуб? Я решил пойти на Буасси-д’Англа и подежурить у выхода: вдруг удастся рассмотреть его получше?

Отправился туда пешком. У подъезда этого привилегированного клуба оказалось такое скопление самых разнообразных экипажей, что мне уже было и не признать среди них коляски Дантеса. Фаэтоны, тильбюри, кабриолеты, берлины, выстроившись в двойную шеренгу, соперничали блеском и элегантностью. Кучера, спустившись со своих сидений, болтали в ожидании хозяев. Ливреи у них были темные, сапоги новехонькие, кокарды на картузах показывали, что каждый имеет честь возить представителя одного из лучших семейств. Дорожные свои фонари они не загасили, и отблески света, играя на шелковистой шерсти стоявших у подъезда холеных лошадей, лишний раз подчеркивали, до чего прекрасный уход обеспечен в этих домах животным. Иногда тишину квартала — она и оставалась тишиной, несмотря на невнятный гул города — нарушал нетерпеливый стук копыт, а то какая-то из лошадей вдруг заржет, но тут же и умолкнет, словно сознавая ржание свое вовсе тут неуместным.

Было часов шесть вечера. У входа в особняк, где располагался клуб, караулил швейцар в роскошных галунах. Я спросил у него, прибыл ли уже барон Жорж де Геккерен д’Антес, но он не удостоил меня ответом. Наверное, получил указание молчать. Я решил подежурить тут часок-другой — вдруг повезет, — но очень скоро понял, что, болтаясь так долго перед дверью прославленного клуба, непременно вызову подозрения. Да к тому же я совершенно уже окоченел, в горле скребло, по спине то и дело пробегала дрожь. Напомнив себе, что бронхи никуда не годные, я счел более разумным сократить срок наблюдения и перенести свой пост в ближайшее кафе на бульваре, где заодно можно и согреться, выпив грогу.

Выбрал для этой цели Тортони, где было переполнено. Разогревшись обжигающим напитком, я, слегка им одурманенный, рассеянно прислушивался к журчанию голосов и позвякиванию посуды. Скольжение официантов между посетителями, неяркий свет поставленных на столики ламп — все выдавало здесь заведение, принципами которого были сдержанность и изысканность. Подумав, я решил, что не следует, подобно какому-нибудь шпиону, упорствовать в преследовании Дантеса повсюду и следить за его перемещениями. Дабы не ошибиться, с кем имею дело, мне надо потребовать, чтобы кто-то из «власть имущих» обрисовал мне того, кого я разыскиваю, а при необходимости и представил ему. Ведь что будет за ужас, если я по ошибке совершу свою месть, направив оружие на другого человека! Можно ли представить себе более ужасную драму! Лучше что угодно, только не принести в жертву невиновного, положившись только на свою ненависть и на свое презрение! Кроме того, предпочтительнее не стрелять в Дантеса, целясь на глазок, среди прохожих, прямо на улице. Самое правильное, просто идеальный вариант — встретиться с ним в какой-либо гостиной, завязать разговор и, глядя негодяю прямо в глаза, холодно произнести: «Меня послал Александр Пушкин. Молитесь, сударь!» — и тут же наставить на него револьвер, который я заранее купил в Петербурге и сумел скрыть от всех таможенных досмотров. Итак, выстрел! Дантес падает, он смертельно ранен. Крики, суматоха. И я, воспользовавшись этим, исчезаю, пока никто не в состоянии преградить мне дорогу.

От разработанного мною плана сердце забилось веселей, на душе появилась необыкновенная легкость, и я стал с беззаботной улыбкой озираться вокруг. Настроение еще улучшилось, когда мне слегка кивнула одинокая женщина, сидевшая за соседним столиком. Впрочем, радоваться было особенно нечему, сразу же сообразил я: это просто вторая Адель, озабоченная поисками клиента. И внезапно мне почудилось, что весь Париж только и занят, что галантными похождениями, только и жаден, что до них. А у меня совсем другие цели, совсем другое — вовсе не амуры, не распутство в голове! Теперь моя навязчивая идея состояла в том, что мне необходимо раздобыть приглашение в избранное общество, туда, где бывает Жорж де Геккерен д’Антес, причем бывает достаточно часто. Там мне легче всего будет не ошибиться, определяя, кто тут именно он, и убить его на месте. Иными словами, отнюдь не преследованию я должен посвящать свои дни в Париже, а подготовке светской встречи с моей будущей жертвой. Но кто способен мне помочь в поисках дома, куда можно было бы отправиться за этим? У меня же нет никаких связей среди французской знати, в самых верхах. И единственный мой осведомитель — Даниэль де Рош, мелкий газетчик, репортер от случая к случаю. Ничтожный писака. Правда, оппозиционер режиму, собирающий сплетни о сливках парижского общества. Что ж, за неимением лучшего придется подключить его к своей охоте.

Однако прошло целых три дня, пока мы с Даниэлем договорились встретиться в ресторане Вефура — поужинать вместе. Денег у нас было предостаточно благодаря кредиту, который на время путешествия матушка открыла для меня в банке Ротшильда, и трапеза получилась, лучше и желать нечего. До сих пор помню нежный вкус тюрбо с устричным соусом, подарившего нам такое блаженство, что мы тотчас же заказали добавки. Сосед мой был в ударе, и я понял, что, в отличие от меня, он просто-таки помешан на политике. Он произносил такие ужасные вещи в адрес Наполеона III, что я не раз оглядывался, опасаясь реакции со стороны соседей по столику, ведь они вполне могли бы счесть себя не только что обиженными, но оскорбленными. Но когда я посоветовал Даниэлю говорить чуть потише, он взорвался смехом:

— Половина Франции, дорогой друг, думает в точности как я! Ни постоянно обновляя и украшая Париж, ни насаждая небывалую роскошь в Тюильри или в Компьене, не скроешь того, что система прогнила насквозь. В ближайшем окружении этого больного монарха нет ни одного порядочного человека, а он болеет манией величия и падок на лесть. Везде торжествует золотой телец. Народ страдает. Недовольство растет как снежный ком. Империя вот-вот рухнет, колосс на глиняных ногах. Каждый здравомыслящий и честный человек мечтает лишь о возврате к Республике!

Я блуждал мыслями далеко от всех этих французских подробностей, и слушать Даниэля мне было скучно, потому, верно, я, как мог, настойчиво выражал нетерпение. И вдруг вспомнил, что два года назад наш царь, будучи с визитом в Париже по поводу Всемирной выставки, подвергся нападению польского националиста, который стрелял в императора, когда тот ехал в карете через Булонский лес. В России также на царя было совершено покушение — и тоже безрезультатное. Но, невзирая на провал за провалом, враги Александра II и не думали сдаваться, так почему же должен складывать оружие я? Я, который целится не в государя, а в обычного гражданина, будь он сенатор, барон или кто… В конце концов, мой фанатизм основан на мотивах нравственных, его питает сама Поэзия, — совсем не так, как у этих террористов, которые утверждают, будто действия их подчинены интересам общества. Хотя, конечно, осуждая их антимонархические настроения, я сразу и восхищался ими. Восхищался их постоянством, их самопожертвованием. Они стали для меня примером мужества и отказа от личных целей. Они открыли мне дорогу к насилию. Ну и еще, глядя на Даниэля де Роша, слушая его речи, я понимал, что ему, столь суровому в оценках Наполеона III, вряд ли удается завязывать связи в правительственных кругах, где процветает Жорж Дантес. Тем не менее во время десерта решительно атаковал своего приятеля:

— Признайтесь, убеждения убеждениями, демократия демократией, но ведь и в противоположном лагере у вас, должно быть, немало друзей!

— Ох, и впрямь есть у меня такая слабость, — ответил он. — Но если я вижусь с ними, то исключительно ради того, чтобы повлиять на их оценки, изменить их мнения в нужную сторону, а вовсе не для того, чтобы петь с ними в унисон. Но вы-то почему об этом спрашиваете?

— Мне бы хотелось… мне бы хотелось побывать в высшем французском обществе, — небрежно сказал я, делая вид, что мне самому забавна подобная несуразная прихоть.

Но Даниэль улыбнулся:

— Что — хочется подыскать себе невесту?

— Ничуть!

— Зачем же тогда?

Я решил слукавить:

— Но разве можно узнать Париж как следует, не побывав хотя бы в некоторых светских салонах… Не увидев того, что англичане называют «fashionable»…

— Думаю, вы будете сильно разочарованы, побывав там. Ну, разве что… разве что это для вас способ свести знакомство с кем-то определенным.

— Признаться, у меня были и такие намерения. И кое-кого я себе уже наметил.

— Кого же?

— Писателей, известных актеров… — сказал я несколько уклончиво.

А Даниэль состроил гримасу:

— Ай-ай-ай! Самые известные из тех, кто вас может заинтересовать, собираются именно в таких местах, о которых мы говорили: в так называемых «хороших домах», куда мне нет доступа из-за моих политических взглядов. Не то чтобы я ничего не мог: попросите меня представить вас Теофилю Готье, Теодору де Банвилю, Александру Дюма — я к вашим услугам. Но что касается

принцессы Матильды или герцога де Морни — тут я пас!

Я совершенно скис.

— Иными словами, вы не сможете мне помочь, так?

— Разве я такое говорил! Да пролейте же свет на ваши загадки! Ну, говорите, с кем именно вы жаждете встречи.

И пришлось решиться:

— С бароном Жоржем де Геккереном д’Антесом!

— Опять он! — засмеялся мой сосед. — Положительно, барон превратился у вас просто-таки в навязчивую идею. Но зачем он вам нужен? Чего вы от него хотите?

— Встретиться… Он долго жил в России… Он был знаком с нашим великим поэтом Пушкиным…

— О да! И был с ним так хорошо знаком, что даже, кажется, убил того на дуэли?

Это прозвучало как гром среди ясного неба. Это было как удар по голове. В висках у меня зажужжало. Мне показалось, что я страшно покраснел.

— Да, вы правы, — как можно сдержаннее постарался ответить я. — Но это древняя история. О ней у нас уже все и позабыли — никто не говорит…

Ложь стоила мне дорого. Было очень стыдно, что я не могу сказать правду своему милому собеседнику. Но что было делать… Несколько подуспокоившись, я продолжал крайне неуверенным голосом:

— Мне бы хотелось поговорить с ним о… о его жизни в Санкт-Петербурге… чтобы он вспомнил… о том, почему вернулся во Францию… Я хотел бы узнать, как барону удалось сделать такую карьеру, так высоко взлететь в политике — ведь в России он был на военной службе…

— Понимаю-понимаю, да, это интересно, вы правы, — согласился Даниэль де Рош. — Это может быть очень интересно.

И вдруг его карие глаза заискрились лукавством, и все его кукольное розовощекое личико просияло. Бросив на стол салфетку, Даниэль ударил себя по лбу, словно на него снизошло озарение свыше, и весело вскричал:

— Нашел, придумал! Отличная идея! Вам следует попросту написать этому человеку личное письмо с просьбой… с предложением, чтобы он взял вас на службу… ну, скажем, в качестве секретаря, который владеет двумя языками… ну, или представиться ему русским журналистом, желающим взять у него интервью на тему его блестящей карьеры во Франции…

Сначала я молчал — слишком уж все получилось неожиданно, и слишком удивлен я был таким оборотом дела. Но очень скоро меня охватила безумная надежда. Может быть, именно этот вездесущий Даниэль де Рош и нашел ключик к решению всех моих проблем?

— И вы считаете, он мне ответит? — прошептал я еле слышно.

— Почему бы нет? В любом случае, попробовать стоит.

И я мигом признал, что приятель прав. О еде я забыл, ложка моя так и повисла в воздухе, глаза блуждали, будущее выстраивалось передо мной.

— Вы не намерены заканчивать ваш десерт? — спросил Даниэль.

В тарелке моей таяла гора шоколадного мороженого. С риском подавиться я уничтожил его в три глотка. Бог с ним, с мороженым! Мне надо было скорее вернуться домой: меня там ожидала главная цель моей жизни.

Даже не переодевшись, я сел к столу и принялся писать барону Жоржу де Геккерену д’Антесу в дом 27 по авеню Монтеня. Следовало тщательно взвесить каждое слово, выверить каждую запятую. Были смяты и выброшены в корзину несколько черновиков, и только тогда я смог внятно, по собственному впечатлению, изложить причины, зачем пишу, своему суровому, гордому и придирчивому, как мне казалось, корреспонденту. Представился я молодым русским, с матерью которого барон встречался в Париже прошедшим июлем в гостиной графини де Кастельбрунн. Самое большое мое желание, писал я, исполнять при нем должность архивиста и переводчика по

всем вопросам, касающимся отношений между его и моим собственным отечеством. В заключение я сообщил, как восхищаюсь его дипломатическими инициативами, и заверил в горячем желании, находясь в его тени, способствовать сближению двух наших стран. Немного смущенный подобным скоплением лжи, я старательно переписал послание, подписал его и решил послать завтра же утром на адрес барона.

Спать я от сильнейшего волнения не мог и снова погрузился в поэзию Пушкина. Припоминаю, что особенно занимали меня тогда последние строфы «Евгения Онегина». Занимали и, как всегда, навевали меланхолический восторг. Да, конечно, конечно, автор этих восхитительных стихов заслуживает, чтобы я совершил ради него все что угодно. Любая низость, на которую я пойду, чтобы отомстить за него, будет оправдана. Небольшой томик, переплетенный в красный сафьян, склонял чашу весов Вечности куда ниже, чем весь целиком барон Жорж де Геккерен д’Антес — с его животом, с его шапокляком, с его тросточкой, с его особняком, и счетом в банке, и экипажем. Все позволено тому, кто отдает себя на служение Памяти. Великой Памяти. Я был счастлив — как будто снова успешно прошел выпускные экзамены в Царском Селе. И я благословлял Даниэля де Роша за драгоценный совет, который он дал мне. Со мной была дорожная икона, и я поместил ее на столике у изголовья моей постели. А перед тем как лечь, встал на колени перед этой святой иконой и молился, молился… совсем так, как когда-то в своей лицейской келье. Потом перекрестил свое письмо Жоржу Дантесу и приложился губами к конверту. В ту ночь я несколько раз зажигал лампу и перечитывал строки нескольких стихотворений в книге, которая была для меня талисманом, была для меня Священным Писанием.

Наконец я решил ложиться уже окончательно, всерьез, и тут словно звоночек прозвенел у меня в голове. Нежданная мысль! Мне нужно было совершить еще один ритуал, чтобы стать достойным своего предназначения. Открыл потайное, недоступное для всех отделение своего портфельчика и достал оттуда гравюру: это был Пушкин. Воспроизведение знаменитого портрета кисти Тропинина. Лицо, в котором можно прочесть следы негроидной расы, огненные глаза, вьющиеся волосы, толстые губы. Но русский! Более русский, чем кто-либо другой, несмотря на африканские корни. Поэт искоса посматривал на художника, но на самом деле — не на него, на меня. Он смотрел только на меня, на меня одного. В моей колоде было два козыря: иконка и это волшебное изображение. Я не сводил пылкого взора с цветной литографии Пушкина, видел расстегнутый воротник, приоткрывающий могучую шею, видел чуть растрепанные бакенбарды, руку в перстнях… Я так хотел побывать в его времени, узнать его при жизни, влиться в круг его друзей, что в тот вечер, окунувшись в какое-то чудесное, ниспосланное свыше головокружение, несмотря на мои двадцать лет, стал-таки его современником. Настоящим современником. Как возможно, что такие чувства привязывают меня к нему столько времени спустя после его смерти? Достаточно ли быть преданным человеку, которого все полагают ушедшим, всем своим существом, до самой глубины души, чтобы он обрел в тебе жизнь и тепло? Я прикрепил гравюру к стене, чтобы она так же, как икона, постоянно была со мной, охраняла меня. И, выражая такое странное желание, я совсем не ощущал, будто совершаю святотатство.

С каждым днем сердце мое билось все быстрее и сильнее при мысли о содеянном и о том, что еще предстояло сделать. С каждым днем я все нетерпеливее ожидал ответа на свое письмо. Однако прошла неделя — и ничего! Я был уже почти что в отчаянии и, праздный, убивал время в прогулках по Парижу — иногда один, иногда с Даниэлем де Рошем. Таким образом я уже посмотрел все, что только можно было посмотреть в этом обновленном вроде бы Османом, в этом надменном городе. Но ни Триумфальная арка, ни Лувр, ни Нотр-Дам, ни Тюильри, ни набережные Сены, ни Елисейские Поля, ни чудеса, творимые на улицах газовыми фонарями (теперь освещали французскую столицу именно они), ни тяжелые, с империалами, омнибусы, которые катили и катили по улицам — ничто не радовало меня, ничто не отвлекало от моего тайного священного плана. И единственная надежда, которую я питал, вот так вот бродя целыми днями по городу, была — каким-то чудом, благодаря господину случаю увидеть где-то экипаж Жоржа Дантеса.

В одно из воскресений мне показалось, что я заметил этот экипаж в Булонском лесу. Тем утром мы прогуливались с Даниэлем, брели себе и брели пешком, следуя в своем движении по аллеям за чинной толпой в праздничных нарядах. Вокруг нас — от озера и к нему — сновали богатые коляски, и некоторые, несмотря на прохладу, с опущенным верхом. В колясках сидели обычно светские дамы или дамы полусвета: укутанные в меха, с перьями на шляпках, они, развалившись на удобных сиденьях, наблюдали внешний мир через лорнеты. Удалые наездники шагом ехали рядом с экипажами, лошади их были ухожены, из ноздрей животных шел пар. Было совершенно очевидно, как дамы, так и кавалеры прибыли сюда с одной-единственной целью: вызвать к себе восхищение. Здесь проходил всестоличный сбор хвастливой элегантности, щегольского соперничества, убийственных взглядов.

И вдруг я схватил приятеля за руку:

— Вон там, вон там!.. Посмотрите же!.. Уверяю вас, это экипаж Дантеса!

Даниэль запротестовал:

— Ничего подобного! Вы же сами отлично видите — что кучер, что упряжка не его! У него лошади рыжей масти, а эти серые в яблоках.

Я страшно расстроился, помрачнел. Радость обманула, меня вновь постигло разочарование. Совершенно очевидно, Дантес выбросил мое письмо в корзину, даже не прочитав. Интрига не состоялось, игра проиграна. Надо придумывать что-то новое. Сослался на страшную усталость и вернулся домой.

А после обеда отправился на улицу Вожирар — послоняться около Сената в той же тайной надежде встретить барона. Входные двери были распахнуты. С двух сторон высокого портика стояли навытяжку часовые. Время от времени с улицы Турнон сворачивала карета, въезжала в ворота и с грохотом ехала по вымощенному парадному двору. Надраенные до блеска стекла в окнах ослепляли меня. Все эти коляски, все эти двухместные кареты, должно быть, везли в себе людей исключительно важных — раз уж гвардейцы-часовые приветствовали по-военному. Наверняка барон Жорж де Геккерен д’Антес был среди них. Но как к нему приблизиться, когда все обставлено с такой помпой, когда за всем так бдительно следят? А никак! Бессмысленная затея! Я повернул назад, ушибленный собственным ничтожеством.

В тот же вечер я решился написать Жоржу Дантесу второе послание — напомнить свою просьбу, однако не успел этого сделать: на следующее утро я получил письмо в запечатанном красным воском конверте, герб на печатке был, несомненно, барона — корона, окаймлённая жемчугом! Я долго вертел в руках конверт, рассматривал его, не смея открыть, ноги еле держали меня, в груди теснило. Наконец осторожно распечатал — так, словно письмо могло взорваться в моих руках и опалить лицо.

«Месье, я с удовольствием принимаю ваше предложение и приглашаю вас прийти ко мне послезавтра, 21 октября, в 11 часов 30 минут. В ожидании вашего визита заверяю в наилучшем расположении к вам».

Лаконично, но разве я мог надеяться на более прекрасный ответ! Недоступный Жорж Дантес приоткрыл-таки передо мной свою дверь. Хитросплетения судьбы, счастливый случай. Все бешено вращалось в моей голове. Неумолимо, непреклонно… Я бросил на портрет Пушкина благодарный взгляд. Но это был и взгляд победителя.

Глава IV

Меня ждали… Лакей с угрожающим, как мне показалось, взглядом и роскошными черными бакенбардами открыл передо мной дверь святилища. Я вошел в довольно просторную комнату с уставленными книгами стенами и тяжелой мебелью красного дерева. Между кожаными креслами — круглый столик на одной ножке, такие же в других местах, на столиках — канделябры, статуэтки, большие, китайские или японские, фарфоровые вазы, альбомы с серебряными фермуарами. Стоило переступить порог, как пахнуло старыми бумагами и остывшими сигарами. Можно было подумать, я попал в кабинет какого-либо высокопоставленного российского чиновника. Мебель, вся обстановка — точно те же самые. Не было только икон. Ни единой. И вот это отсутствие святых образов заставляло понять, что я во Франции.

В центре своего кабинета восседал торжественный и богатый барон Жорж де Геккерен д’Антес. Я узнал его мгновенно, хоть никогда и не видел вблизи. Склонившись над рабочим столом, он что-то писал… или делал вид, что пишет. Черт склоненного к бумаге лица было не различить. И вдруг он поднял голову. Взгляд его словно бы попал в меня, как пуля, я даже пошатнулся. Неужели это он, он — тот молодой, с лихо закрученными усами офицер в белом мундире кавалергарда, который пытался соблазнить Натали Пушкину? Передо мной сидел старик атлетического сложения, плотный… на вид ему было лет шестьдесят. Лицо костистое, черты мощные, крупные, глаза хищной птицы, густые брови, седеющая бородка — типа той, какую носит император. Вероятно, прежде он был хорош собой, однако теперь и следов былой красоты не осталось. Все в нем было весомо, даже — тяжеловесно… угрюмый, неприветливый, наверное, ворчливый… суровый и жесткий в решениях. И так трудно было представить себе его вальсирующим в петербургском зале у Воронцовых или у Фикельмонов, танцующим под ревнивым взглядом поэта. Я не мог глаз оторвать от его правой руки. Той самой, что держала пистолет. Рука была покрыта старческими коричневыми пятнами. Наверное, теперь она не такая твердая, не такая уверенная, как когда-то. Вот: немножко дрожит. Сегодня он был бы не в состоянии прицелиться точно. Это меня обрадовало, сам не знаю почему. Дантес молчал. Мерил меня глазами с головы до ног и молчал. Мы стояли друг против друга, как два дуэлянта. Наконец он произнес:

— Присаживайтесь, господин Рыбаков.

У него был легкий эльзасский акцент. Меня удивила эта особенность. Я не мог себе представить воздыхателем Натали, человеком, сыплющим комплиментами в ее адрес, кого-то с немецким акцентом. Когда я устроился в кресле перед заваленным бумагами столом — столом с чернильницей, гусиными и стальными перьями, — он скрестил руки на животе и продолжал низко и чуть напевно:

— Вы, разумеется, понимаете, господин Рыбаков, что, прежде чем ответить на ваше письмо, я постарался получить сведения о вас из Русского посольства в Париже. Характеристики, должен сказать, отменные. Прекрасная семья, прекрасное образование, полученное в Царскосельском лицее. Никаких правонарушений, никаких — даже самых незначительных — столкновений с законом… Короче, сведения обнадеживающие по всем линиям. Это и позволило мне решиться. И вы попали как раз вовремя: пришла пора навести порядок в моих архивах. А в архивах этих порядочно русских документов. Способны ли вы их перевести?

— О да, конечно, сударь! — воскликнул я.

— Мы в этом тотчас же убедимся. Вы опять-таки понимаете: прежде чем с уверенностью предложить вам работу, мне необходимо оценить ваши дарования. Вот присланное мне из Санкт-Петербурга полицейское донесение. Изволите ли перевести мне его с листа? Сразу?

Дантес протянул мне листок бумаги, исписанный каллиграфическим почерком. Вглядываться в начертания букв не приходилось, все читалось легко. И я стал излагать вслух по-французски содержание документа, стараясь как можно точнее и изящнее передать его смысл и стиль. Все время моего чтения вслух он сверялся с другим переводом, видимо, заготовленным заранее (позаботился!), убеждаясь в правильности моего, и минуты через две остановил меня:

— Превосходно! Но это еще не все. Я бы хотел, чтобы вы теперь изложили переведенное письменно.

Я повиновался. Пока мое перо покрывало черными буковками белую страницу, я чувствовал на себе его взгляд. Глаза Дантеса перемещались с моего лица на мою руку и обратно. Мне стало не по себе. А вдруг что-то в моем поведении все-таки показалось ему подозрительным? Вдруг я не вызвал у него доверия? Вдруг он сейчас отошлет меня под благовидным предлогом? И что тогда? Не придется ли мне, почти уже добравшись до цели, искать иное решение? Закончив свою рукопись, я протянул листок Дантесу, барон прочел, покачал головой и уронил:

— Письмо правильное и, насколько я могу судить, знание обоих языков позволит вам стать отличным секретарем. Думаю, мы сможем трудиться в полном согласии. А если я буду весьма

удовлетворен вашей работой, то, вероятно, найду для вас и другие мелкие поручения.

Он говорил, а я успокаивался, успокаивался… Все шло как нельзя лучше. Я оказался на месте, и я был счастлив, как рыбак, доставший из воды ту самую рыбу, о которой так долго мечтал. Главное теперь было — следить, чтобы эта громадная щука не сорвалась с крючка. Надо действовать потихоньку, последовательно, медленно набирая темп. Торопиться некуда, времени убить этого беззащитного человека вполне достаточно. Ему от меня не уйти. И я накажу его за преступление тогда, когда выберу момент сам. Эта отсрочка казни понадобится мне, чтобы изучить негодяя получше, чтобы еще сильнее его возненавидеть. Да! Да! Чтобы как следует насладиться местью, мне нужно знать о нем все. Он полагает, что я в его распоряжении, но дело обстоит как раз наоборот: с этого мгновения он в моей власти. В моих руках. А бывает ли большее на свете счастье, чем владеть жизнью и смертью существа, которое мыслит себя неуязвимым, не заслуживая при этом никакого снисхождения? Кипя от любопытства и нетерпения, я притворился необычайно внимательным к дальнейшим его речам:

— Полагаю, на первых порах вам достаточно будет являться сюда два раза в неделю во второй половине дня… Скажем… во вторник и в пятницу, вас устраивает? А после посмотрим… Вам с вашими русскими бумагами будет предоставлено небольшое помещение, смежное с моим рабочим кабинетом. Это позволит вам, в случае необходимости, прямо проконсультироваться у меня в связи с тем или иным делом. Сейчас я покажу вам это помещение.

Он поднялся, опершись двумя руками о край письменного стола. Он был куда выше и крепче меня. Врукопашную он одолел бы меня одним ударом кулака. Мы бок о бок прошли кабинетом. Комната, предназначавшаяся мне, оказалась без окна, во всю ее ширину протянулся дубовый стол, блестящий от воска.

— Эти условия могут показаться вам несколько спартанскими, сударь, но помимо того преимущества, о котором я уже сказал, есть и еще одно: вас тут никто не потревожит, никто не помешает вам писать.

Я поторопился заверить Дантеса, что о лучшем не мог и мечтать.

Мы вернулись в кабинет. Он снова, все так же тяжело, опустился в свое кресло, я кое-как примостился на краешке своего.

— Когда вы желаете, чтобы я приступил к своим обязанностям? — спросил я.

— В следующий же вторник, — без колебаний ответил он.

И добавил, лукаво сверкнув глазами и даже, кажется, подмигнув:

— Но мы не обсудили еще одного важного вопроса: о вашем вознаграждении за труды!

Я подумал обо всем, кроме этого. Боже! Чтобы мне платил человек, которого я намереваюсь убить! Что за странная шутка судьбы! Похоронная шутка, весьма мрачная. Он застал меня врасплох, и я забормотал, не решаясь взглянуть собеседнику в лицо:

— Я… мне… мне ничего не нужно, месье…

— Нужно! Нужно! — воскликнул он. — В ваши юные лета не живут, питаясь лишь воздухом времен. И всякий труд заслуживает оплаты.

— Для меня это не труд, это удовольствие…

— Тра-та-та! И я был молод, как вы. И я знаю, какова цена деньгам в двадцать лет.

Этот его намек на молодость мгновенно вернул меня в Россию, к Пушкину, к дуэли на снегу у Черной речки. И впрямь ведь, добиваясь первых успехов в свете, он был моим ровесником. У меня закружилась голова. Некоторое время я не мог выговорить ни слова: лишился голоса.

— Ну… скажем… десять франков за рабочий день. Это вас устроит?

Тут я подумал, что, упорствуя с отказом, способен возбудить его подозрения. Хочу я того или не хочу, но придется принять условия, какие предлагает мне моя будущая жертва.

— Это… это… это превосходно, — наконец выдавил из себя я. — Лучше просто не может быть.

И попытался улыбнуться.

— Вот и прекрасно, значит, договор подписан, — быстро откликнулся он. — Вы увидите, дом у меня хорош. Я живу со своей семьей. Второй этаж — мои владения. Третий и четвертый отведены моим детям и внукам. Да… целый выводок… Но это вносит толику веселья в холодные стены, не правда

ли? Мы все друг друга любим. Малыши совершенно не утомительны и не навязчивы. Они нам нисколько не помешают. Доброжелательство и дисциплина — вот закон моей жизни. Мой девиз…

Он с явным удовольствием рассказывал о себе. И этот его навязчивый эльзасский акцент придавал странной, провинциальной сердечности его речам. Я угадывал в нем бонвивана, человека, любящего хороший стол и хорошее вино, обожающего почести и комфорт, порядок и свое семейство. Прямоугольный в своем прямоугольном кресле с высокой спинкой, он не в кресле сидел — на троне. Лицо его, лучившееся довольством собой, даже несколько расширилось. Ах, если бы ему было известно, *что* назвал он подписанным договором!.. Смертный его приговор — вот что мы с ним подписали!.. Внезапно нахмурив брови, он проворчал:

— О! Я же не поинтересовался еще вашими политическими взглядами! Но я предчувствую, что мнения у вас здравые, положившись на сведения из посольства. Никто не дал мне ни малейшего повода сомневаться в этом…

— Мое сердце исполнено преданности нашему государю-императору, — определенно высказался я.

В данном случае ни на йоту не солгав.

— Превосходно, превосходно… — пробормотал он. — Но во Франции умы более беспокойные, чем у вас на родине. Несмотря на всю доброту, проявляемую Наполеоном III к своему народу, ветер фронды гуляет в молодых головах. Шепчутся, повсюду шепчутся: в кафе и редакциях, везде… повсеместно строят абсурдные демократические планы… Это типично французская болезнь, и я советую вам опасаться заразы, сторониться, если желаете сохранить доверие людей, занимающих положение… и особенно — мое собственное.

— У меня нет ни малейшего желания прислушиваться к речам бунтовщиков и смутьянов! — снова уверил его я.

Подумал при этом о дорогом моем Даниэле де Роше, и сердце мое болезненно сжалось.

— Но их легион! — Положительно, эта песня была у него нескончаема. — Некоторое время назад его величество смягчил свое к ним отношение. Появилось много либеральных изданий. Люди отваживаются в полный голос критиковать существующие порядки. Но я бы хотел, чтобы император был более суров к этим неисправимым болтунам. Природная снисходительность нашего монарха мешает строго наказать их, полиция ослабила надзор, и массы, воспользовавшись этим, чрезвычайно обнаглели!

Внезапно, прямо на моих глазах, добрый дедушка обратился в политика. До чего сложны человеческие существа! Каков истинный облик барона Жоржа Дантеса? Кто он на самом деле? Тот, кому все безразлично, кто выстроил себе роскошный особняк на авеню Монтеня и царствует там в кругу чад и домочадцев, кичась своим девизом: «доброжелательство и дисциплина»? Или он — тот, кто, пожираемый амбициями, снует по коридорам Сената и пользуется любым случаем, чтобы дать императору мудрый совет держаться строже, проявлять деспотизм? Сколько же масок придется сорвать с него, прежде чем откроется его истинное лицо?

Он говорил еще долго о плачевном соскальзывании Империи к режиму патерналистского всепонимания по отношению к тем, кто бьется об заклад о неизбежности крушения режима. Я придерживался одного с ним мнения, и казалось, он крайне этим доволен.

Однако, по всей видимости, устав разглагольствовать перед столь скудной аудиторией, он схватил серебряный колокольчик, позвонил — и на пороге явился лакей с бакенбардами калабрийского разбойника. Я поклонился Жоржу Дантесу, поблагодарил его за исключительно любезный прием. Мы пожали друг другу руки. Меня смущало, что он так жовиален, так приветлив. Мне казалось бы предпочтительнее видеть его сдержанным, замкнутым, даже неприятным. Никаких сомнений, это облегчило бы мою миссию. Оказавшись на улице, я задумался, куда теперь идти и что делать. Жизнь моя не имеет смысла до следующего вторника, решил я.

Вернулся домой, написал в Россию — лицейским собратьям по железному кольцу. Расхвалил им божественную архитектуру Парижа, на самом деле мною едва замеченную, и, естественно, не сделал ни малейшего намека на лицо, ради которого прибыл во Францию. Одиночество и тайна делали меня привлекательным в собственных глазах. Я словно бы внутренне рос.

Наступило время ужинать, и вдруг захотелось повидать Адель, найти ее в танцевальном заведении «Мабилль». Но желание это утихло, едва я вспомнил о своем священном долге. Все, что отдалит меня ныне от Дантеса, станет оскорблением для благороднейшего из предназначений — отомстить за гибель Пушкина. Я сравнивал себя с монахами-иллюминатами, для которых в самоотречении уже заключалась награда. Разве, как можно чаще говоря «нет» искушениям, достойный человек не придает куда больше ценности окончательному «да»? Вернуть силу духа мне, как обычно, помог Пушкин. Я вернулся к его стихотворению и прочитал еще раз самую важную для меня строфу:

Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона,Свершитель ты проклятий и надежд;Таишься ты под сенью трона,Под блеском праздничных одежд.

И завершил вечер совершенно один, сидя за столиком в дрянном трактире.

Глава V

Очень скоро я вполне освоился в доме Жоржа де Геккерена д’Антеса, у меня появились даже привычки. Приходил я, как было условлено, дважды в неделю к трем часам пополудни, спесивый лакей провожал меня в мою каморку, где кипы бумаг дожидались инвентаризации и перевода. Большею частью это были русские документы, в общем-то, не особенно интересные. Одни из них имели отношение к военному прошлому моего хозяина, другие вели происхождение из архивов его приемного отца, барона Якоба Теодора Ван Геккерена, в то время исполнявшего должность полномочного посла Нидерландов в Вене. Я старался как можно лучше воспроизвести на русском эту скучную административную прозу. Время от времени неожиданно появлялся Дантес и бросал взгляд на мою работу. И всегда выказывал удовлетворение. И я — тоже всегда — получал от его комплиментов странное удовольствие. Как будто впоследствии я решил стать секретарем или мне необходимо было заручиться благорасположением этого человека, прежде чем всадить ему пулю в голову. Иногда, сидя лицом к лицу, мы несколько времени отдыхали. Словно бы забывались. Он рассказывал мне о заседаниях Сената, а я ему о некоторых впечатлениях от своих парижских прогулок. Но этим и ограничивались наши взаимные исповеди. После, наградив меня парой приятных слов, Дантес возвращался в кабинет и закрывал за собою обитую кожей дверь.

Ровно в половине пятого экономка Дантеса, мадемуазель Изабель Корнюше, приносила мне поднос с чайником, чашкой, сахарницей, розеткой джема и кусочком эльзасского пирога. Разом мне открывалось наслаждение образцами неизвестной мне прежде кулинарии и обликом молодой очаровательной женщины, скромной и энергичной. Изабель умело заправляла всем домом барона. Ей было лет тридцать пять, не больше, и прежде чем взять на себя столь важные обязанности домоправительницы, она весьма успешно работала гувернанткой старшей дочери барона, Матильды Эжени. Все в ней отливало жемчужно-серым: платье, тонкая кружевная косынка, которая накрывала ее пепельные волосы, обрамлявшие лицо с изящными чертами, застенчивый взгляд и — осмелюсь даже сказать — чуть приглушенный голос. Изабель охотно задерживалась в моей комнатке, мне казалось, я внушаю ей уважение и симпатию, но ей в голову не приходило, что можно сесть. Она стояла рядом, пока я глотал свой обжигающий чай, пока наслаждался ароматной выпечкой. Дожевав кусочек, я с притворным небрежением расспрашивал ее о личности и жизни хозяина и заметил, что, стоило заговорить о нем, лицо ее тотчас же оживало. Она сообщила, что господин барон «сама доброта» и что в Сульце, эльзасском городе, где господин барон был мэром, он помогал неимущим и приносил богатые дары церкви, что он жертвовал на больницу, что, наконец, он много вложил в установление Второй Империи, за что и был пожалован сенаторским креслом, званием командора ордена Почетного Легиона и дружбой императора Наполеона III… Еще оказалось, что господин барон слишком много трудится, занимаясь одновременно государственными и своими собственными делами, и что горе господина барона, когда в октябре 1843 года скончалась его жена Екатерина, сестра Натали Пушкиной, было безмерно.

— Бедная дама умерла от родильной горячки, — вздохнула Изабель, — умерла, подарив господину барону сына, которого он только и ждал после трех дочерей. Кончина Катрин была кончиной святой. Мадам не жаловалась. Мадам плакала и молилась. Господин барон так никогда и не смог забыть свою супругу. Господин барон не только никогда больше не женился, но даже и не посмотрел ни на одну женщину. Траур изменил господина барона, духовно возродил…

— Но разве вы знали покойную мадам д’Антес? — удивился я.

— Нет, к несчастью, не была знакома с мадам, — вздохнула экономка. — Месье нанял меня только в 1855 году. Но я очень много слышала о мадам Катрин. Все, все здесь почитают ее память!

— А не знаете ли, поддерживала ли мадам д’Антес отношения со своею сестрой, вдовой Пушкина?

— О не знаю, не знаю… Не думаю… Вряд ли… Хотя я могу ошибаться… Господин барон не любит говорить о своем прошлом, связанном с Россией… даже не намекает никогда… Там какая-то темная, непонятная история…

Я побоялся расспрашивать — чтобы опять-таки не вызвать подозрений, теперь уже у милой Изабель. Преданность домоправительницы хозяину казалась мне разом и трогательной и смешной. Неужели у такой прелестной женщины нет в жизни никаких других интересов, кроме как служить этому эгоистичному и пресыщенному шестидесятилетнему почти старику, который и говорить-то толком не может — только вещает? Господи, явно ее единственной семьей осталась та, что жужжит и перемещается целый день по особняку на авеню Монтеня! Она спит здесь, ест здесь, с утра до вечера дышит этим воздухом, высовывая нос наружу разве для того, чтобы погулять с ребятишками… Должно быть, она знает наизусть, сколько пар кальсон у господина барона, сколько у него носков какого цвета, помнит дни и часы его свиданий, число капель, прописанных домашним доктором на случай недомогания… Ну как не видеть в ней идеальную служащую? Но я-то, я ведь тоже служу здесь. Я тоже работаю на господина барона. Вот только я мечтаю о ритуальном убийстве, а для милой Изабель свет клином сошелся на вкусном супе, почтительных поклонах и мягких шлепанцах.

Истина вынуждает меня сказать, что я целиком сосредоточился на персоне Жоржа Дантеса и не обращал никакого внимания на его детей и внуков, живущих на верхних этажах особняка. Точнее, все они представлялись мне расплывчатым единством, без четкой формы, без каких-либо границ и словно бы существовали в некоей ирреальности. Я знал, что барон обедает с семьей по четвергам и субботам, и эта традиция никогда не бывает нарушена, я видел несколько детских фотографий в бронзовых рамках на его письменном столе. Но мне не хотелось ни сводить знакомство с этим племенем, ни даже — слышать о нем. Работая по нескольку часов в затхлой атмосфере моего убежища при свете керосиновой лампы, я слышал иногда пронзительный или рассыпчато-звонкий смех, топот детских ног, шум голосов — и это нарушало плавное течение моих мыслей. Я мог бы выйти из каморки и увидеть потомство Жоржа Дантеса, но не испытывал в этом ни малейшей потребности. Никто из них не интересовал меня, никто не казался мне привлекателен, более того — они попросту докучали мне единственно своим присутствием, радостное эхо которого проникало сквозь стены и паркет. Я предпочитал не замечать их. Мне бы хотелось, чтобы у моей будущей жертвы вообще не было никакой семьи.

Однажды вечером, распрощавшись с бароном, я вышел и оказался в прихожей лицом к лицу с довольно миловидной молодой женщиной. Она держала за ручку маленького мальчика. Женщина чуть склонила голову, по губам ее промелькнула улыбка. Я ответил тем же и заторопился вниз. Мне хватило времени заметить, что и мать, и ребенок одеты по-парадному, видимо, собрались с визитом к кому-то из представителей высшего общества. На матери поверх платья с турнюром было накинуто просторное манто из гранатового бархата, отделанное стеклярусом, капор темно-зеленого шелка с завязками и бантами украшал гордо вскинутую голову; наряд ребенка был так же изыскан: шотландский костюмчик с килтом, шапочка с пером и плед на плечике. От свежести обоих у меня странно стеснилось в груди — как будто я, совсем их не зная и сам не зная, каким именно образом, тяжко их оскорбил. Когда вернулся домой, эта встреча, это мимолетное и изящное видение преследовало меня подобно навязчивой идее — никак не мог вытряхнуть их из памяти, никак не мог успокоиться, оставалось только надеяться, что подобное не будет повторяться слишком уж часто.

Прошло немного времени и, опять-таки когда я работал в отведенной мне каморке, в тот раз — описывал архивы старого барона Якоба ван Геккерена, до меня донеслись из кабинета голоса. Беседа шла явно на повышенных тонах, а вел Жорж Дантес эту оживленную дискуссию со своим коллегой по Сенату господином де Мондвилем. Приклеившись ухом к дверной створке, я понял вскоре, что спор возник по вопросу об отношении к прессе, который голосовался в прошлом году и пересмотра которого барон хотел в нынешнем. Мой хозяин всячески поносил журналистов, якобы подбрасывающих при всяком удобном случае дровишек в костры политических дебатов. По его мнению, долг газетчиков — исключительно давать отчеты, никак их не комментируя и уж тем более власть имущих не критикуя. Всякое покушение на императорскую мысль, полагал он, есть преступление против Франции. Затем хозяин и гость так же горячо обсуждали проект закона об упразднении выпуска расчетных книжек для рабочих и комментировали итоги последних выборов в Законодательное собрание, которые казались как тому, так и другому свидетельством усиления активности «кандидатов от нищеты». Я с трудом мог расслышать месье де Мондвиля, зато голос Жоржа Дантеса гремел как колокол. И вдруг он зазвучал так громко, будто порывом ветра внезапно распахнуло дверь между нашими комнатами.

— Извольте признать, дорогой Мондвиль, что его величество в последнее время идет на слишком серьезные уступки! Не стоит преувеличивать страданий народа. В конце концов у нас, во Франции, всем найдется чего поесть, и у всех найдется, на чем поспать. А от того, что у одних кровать помягче, у других пожестче и у вторых может не оказаться масла, чтобы намазать на хлеб, ничего не меняется: неравенство заложено самой природой. Здесь нет повода для революции!

На этот раз месье Мондвиль также повысил голос, но лишь для того, чтобы поддержать своего собеседника. Затем они перешли на шепот. Приложив ухо к притолоке, я улавливал отдельные слова и по ним смог догадаться, что барон и его посетитель поздравляли друг друга с избранием месье Руше президентом Сената, оплакивали декрет об амнистии политическим преступникам и правонарушителям, приветствовали церемонию инаугурации Суэцкого канала и воспевали Папу за постоянное подтверждение авторитета Церкви и вынесенный им приговор социализму…

Все это было так далеко от Пушкина… Земля продолжала вертеться так, словно вообще ничего не произошло, и лишь я один отказывался забыть мимолетное пребывание поэта на земле, его промельк среди нас! Но вот мои сограждане… большинству моих сограждан было достаточно маленьких сегодняшних радостей, и они отстранялись от глубокой боли прошлого. Только я упрямился в желании существовать бок о бок с призраком. Они настораживали уши исключительно ради мирской суеты, тогда как я за этими пустыми никчемными звуками ясно различал голос певца, молящего об отмщении. Верный могиле, я чувствовал себя живым анахронизмом и гордился собой.

Наконец господин Мондвиль удалился, и Жорж Дантес вошел в мой «кабинет». Настроение у барона было радостным. Разговор с коллегой приободрил его.

— Превосходный человек! — заявил он с порога. — Ясный ум и горячая кровь. Однако, на мой вкус,

несколько робок, когда речь заходит о систематически проявляющейся снисходительности власти к тем, кто недостоин такой снисходительности. Скорее всего, вам показался бы интересен наш обмен мнениями о пауперизме… Покажите-ка мне вашу работу…

Я протянул ему несколько листков, он пробежал их глазами, приговаривая:

— Отлично, отлично…

Мне казалось, будто я в пять минут досконально узнал этого человека и мог вынести непогрешимое суждение о нем: законченный и непроходимый реакционер, непримиримый враг всякой свободы и всего нового… Больший империалист, чем сам император Наполеон III. Но мог ли я порицать его за это? Я — приехавший из страны, где порядок имел усатое лицо жандарма! По традиции, по обычаю, унаследованному от предков, мы, русские, не обсуждаем решений, принятых наверху.

А Дантес вдруг вздохнул, поглядев в потолок:

— Я вот задумываюсь, а не стоит ли мне теперь записать свои мемуары… Есть столько событий, о которых надо бы рассказать, столько неясностей, требующих пролить на них свет, столько великих людей, заслуживающих того, чтобы о них вспомнить…

— О, как это было бы увлекательно! — подхватил я до того услужливо, что сам испугался.

— Вы правы, — согласился он, рассмеявшись. — Но это титаническая работа. Мои дни и так заполнены и переполнены донельзя. Однако в случае, если решусь, непременно прибегну к вашей помощи и приготовлю для вас документы.

— С огромной радостью займусь этим! — заверил я.

И я не лукавил, я думал: «Если он и впрямь захочет сказать *все* и *обо всем*, ему придется говорить и о Пушкине, и о Натали, и об анонимных письмах, и о дуэли… А тогда мой акт отмщения станет заслуживать еще большего уважения и тогда он произведет еще большее впечатление. Это будет настоящий взрыв!»

Он положил бумаги на стол, повернулся к двери, но через плечо добавил:

— Правда, до этого пока далеко! До свидания!

Дантес вышел, а я стоял растерянный — и нежданно-негаданно свалившейся мне на голову возможностью сотрудничества, и тем, как оно сразу же было отринуто. Собрался уходить сам, но тут явилась мадемуазель Корнюше со свертком в руках. Оказывается, Изабель принесла мне кусок эльзасского пирога, чтобы скрасить на следующий день завтрак.

— Знаю, что вы любите этот пирог, — прошептала она, опустив глаза долу, — ну и подумала…

Я поблагодарил, а экономка продолжила, воодушевляясь по мере произнесения своего монолога:

— Вам так плохо здесь!.. Вам не хватает воздуха!.. Вы не видите дневного света!.. Это бесчеловечно!.. И я все думаю, разве вам было бы не лучше, если бы перебрались повыше? Рядом с детской есть совершенно свободная комната — очень приятная, очень светлая… Я могла бы переговорить с господином бароном…

— Ну что вы, ну что вы, ни в коем случае! — возразил я, на этот раз даже не поблагодарив добрую женщину за заботу. — Я предпочитаю оставаться здесь: рядом с кабинетом, рядом с месье д’Антесом!.. Из… из удобства… Эта близость бывает необходима при решении… при решении ряда проблем в моей работе…

— Вы весьма серьезный молодой человек, весьма надежный, господин Рыбаков! — заметила она. — Поздравляю вас с этим.

Изабель посмотрела мне прямо в глаза, заглянула так глубоко, словно хотела выразить признательность за то, что я так привязан к ее хозяину. От волнения она стала красивой, несмотря на мелкие морщинки по векам и поблекший цвет лица. Но больше нам нечего было сказать друг другу. Вероятно, ей казалось, что мы сообщники, союзники в почтении к господину барону. Столь неверная оценка мне претила, но одновременно мне было жалко хорошего человека… Наконец мадемуазель Корнюше прошептала:

— Все! Я ухожу!

И исчезла, серенькая и легкая, как мышка, живо ускользающая в нору после того, как побывала в мире людей. А я с того дня получил право на ежедневный ломоть эльзасского пирога к завтраку.

Неделей позже, когда я находился в кабинете Жоржа Дантеса, показывая ему перевод нескольких вырезанных из газет материалов, явился лакей и объявил о визите инспектора полиции Вокура. Услышав слова «инспектор полиции», я невольно вздрогнул, разволновался, пусть даже внешне и незаметно. А Жорж Дантес, явно ожидавший этого самого инспектора, сказал мне с видом более чем непринужденным:

— Прошу прощения, однако я вынужден попросить вас меня оставить. — Обращаясь к своему лакею, прибавил: — Попросите инспектора Вокура зайти. — И больше не обращал на меня никакого внимания.

Я вернулся в свой уголок. В животе прочно поселился страх, от него даже холодело все внутри. Неужели полиция узнала — но от кого?! — о моих тайных намерениях? Не явился ли инспектор арестовать меня, чтобы я не смог осуществить преступление? Внезапно я почувствовал себя ужасно одиноким и ужасно уязвимым. Еще бы! А каким себя чувствовать лицом к лицу с колоссальной правительственной армией, чья задача — только репрессии? Все ищейки России гонятся за мной по пятам! Стоит мне выйти из этой каморки, мне тут же закуют руки в кандалы, и я закончу жизнь в темнице, даже не получив удовлетворения, даже не утешившись местью, не успев прикончить Жоржа Дантеса… На самом деле, я был готов к тому, что может случиться такое. Но я не мог себе представить, что не успею даже совершить покушения. Да, меня не пугала жизнь в неволе. Меня не пугала гильотина. Неминуемость смерти обратилась для меня в смысл жизни. Впрочем, наняв хорошего адвоката, можно было бы и смертной казни избежать. Разве так не случилось с этим поляком, Березовским, который покушался на жизнь царя, когда его величество приезжал в Париж? К тому же сенатор — не император, вес куда как не тот. Снисходительность суда мне уже и сейчас обеспечена. Даже, наверное, и срок скостили бы за примерное поведение… Ну и отбыв в течение нескольких лет не слишком строгое наказание, я нес бы двойной ореол: героя и мученика. Но для всего этого надо ведь было прежде нанести удар! А необъяснимый визит этого инспектора Вокура ставил под сильное сомнение всякую для меня возможность прославиться в веках.

Свидание инспектора полиции с Дантесом опасно затянулось. Я даже и не пытался подслушивать. Моя судьба решалась рядом, в двух шагах от меня, а ни единого средства проникнуть в кабинет и предотвратить катастрофу не было. Сидя в своей душной каморке, заваленной бумажными грудами, я чувствовал себя загнанным в мышеловку. Хуже того: в ловушку, из которой выйду в наручниках. Сердце то замирало, то начинало как-то противно дрожать. В панике я начал было подумывать о том, нельзя ли сбежать через другую дверь — ту, что выходит в коридор, но только собрался подойти и открыть ее, вошла мадемуазель Корнюше со своим неизменным подносиком. Наступил час вечернего чая. Я пробормотал, что не хочется, что не голоден, что не испытываю жажды, что мне нужно уйти, — она забеспокоилась:

— Вы плохо себя чувствуете?

— Нет, нет… просто тороплюсь… видите ли… назначена встреча… свидание… тотчас…

Должно быть, вид у меня был потерянный, потому что Изабель попыталась настоять на своем:

— Погодите еще совсем немножко, месье Рыбаков!.. Господин барон недолго еще будет занят… Инспектор пришел к господину барону из-за нашего кучера: его вчера задержала полиция во время драки перед театром Пале-Рояль…

Дальше я не слышал. Нервы отпустили так внезапно и резко, что секунды на три я попросту онемел и стоял, пошатываясь, с открытым ртом. Ложная тревога. Ничего не случилось. Мои шансы ничуть не уменьшились. Я тут вообще ни причем. Кучер! Драка какая-то! Милая домашняя жизнь может продолжаться. Она будет продолжаться. Меня охватило сумасшедшее желание расцеловать мадемуазель Корнюше за добрую весть. А она улыбалась мне, спокойная, невинная, такая, как всегда. Я взял у нее из рук поднос и вернулся к столу, чтобы напиться ароматного чаю с эльзасским пирогом. Экономка ласково смотрела на меня, пока я ел. Я вспомнил матушку. Та же нежность в движениях, то же простодушие сердца. У меня на глазах выступили слезы.

Как только я прикончил чай с пирогом, господин барон позвал меня в кабинет. Инспектор Вокур только что ушел. Путь был свободен. По установившемуся уже обычаю я предъявил выполненную сегодня работу. Дантес взял папку своею пухлой рукой и сказал:

— Устал я что-то сегодня… Давайте посмотрим это в пятницу… Впрочем, и смотреть не надо, я доверяю вам: наверняка работа, как всегда, безупречна.

Слова «я доверяю вам» вознесли меня на седьмое небо. Из кабинета я не вышел — вылетел на крыльях. Настроение было самое что ни на есть праздничное. Мадемуазель Корнюше перехватила меня почти у выхода: на улице дождь полил как из ведра, и она предложила мне зонтик.

Глава VI

Внимательный к течению дней человек способен заметить, что неприятным сюрпризам в его жизни частенько предшествует удивительное спокойствие во всем, полное затишье. Я потихоньку приспосабливался, привыкал к рутинной своей секретарской работе у барона Жоржа Дантеса, и надо же было взорвать мою отупелую повседневность… ребенку. Да, именно ребенку это и было суждено. И посейчас, хотя прошли годы, помню все три его имени: Мари, Фредерик, Шарль. Именно этого мальчика я и видел тогда одетым в шотландский костюмчик в прихожей. Он был прехорошенький и совсем малыш — лет трех или четырех.

Так вот. Внезапно по всему особняку, снизу доверху, подобно грому прокатилась весть: Фредерик-Шарль заболел! Поначалу решили, что обычная простуда. Но вызванный сразу же домашний врач определил пневмонию.

Барон отменил все назначенные встречи. Десять раз на дню он поднимался на четвертый этаж, чтобы узнать, как себя чувствует маленький больной. Когда возвращался, расстроенный донельзя, смотреть на него было жалко. Однажды вечером, когда я уже собирался уходить, Дантес вдруг пожаловался, упав в кресло:

— Оба легких поражены… Ему становится все хуже и хуже… Лихорадка измучила бедняжку — весь горит… Признаться, я готовлюсь к худшему…

Отчаяние, которое ясно читалось на старом его измученном лице, заставляло сжаться сердце. Как бы ни твердо было ранее мое намерение уничтожить Дантеса, какие бы циничные планы я ни строил, сейчас ничто меня не сдерживало в сочувствии человеку, который страдает из-за болезни ребенка. Одна только мысль о том, что убийца Пушкина способен на добрые чувства, мешала моей к нему ненависти. Преступник, согласно моим взглядам, должен был быть скопищем недостатков. Только видя перед собой законченное чудовище, я мог укрепляться в своем решении. Однако чудовища живут лишь в воображении романтиков, а жизнь учит нас любить или ненавидеть *людей* — просто людей, которые ни стопроцентно отвратительны, ни абсолютно совершенны во всем. Молодости свойственны крайности, она презирает посредственность, зрелые же годы руководятся золотою серединой. Глядя на этого дедушку, обыкновенного дедушку, что вот-вот заплачет, дедушку с опущенными уголками губ, раскисшим ртом, сбившейся на сторону бородкой, я зашептал бесполезные и бессмысленные слова утешения:

— Зря вы так паникуете, господин барон… сейчас все не так, как прежде… медицина научилась творить чудеса… ваш внук выздоровеет, вот увидите…

— Вы сами не знаете, что говорите, дорогой вы мой Рыбаков, — проворчал он в ответ. — Фредерика-Шарля мы потеряли!.. Доктор Флош еще не признался в этом окончательно, но… но я и сам догадался только что — по его взгляду…

— А достаточно ли он компетентен, этот ваш доктор Флош?

— Месье Флош наш семейный врач… Он пользует Фредерика-Шарля со дня рождения…

— Но может быть, стоит проконсультироваться с кем-то еще… со специалистом еще более высокой квалификации?

— Да, конечно… Я думал о Кюлье, с которым знаком… Он членствует в Медицинской Академии… Но он так стар… и он нынче не ездит на вызовы… его никто и не беспокоит…

Из моей груди вырвался крик:

— Я поеду за ним! Я привезу его вам!

Как я мог сделать настолько дерзкое предложение! Как я мог *такое* пообещать? И зачем мне утолять тревоги Жоржа Дантеса? К чему усмирять его тоску? Его самого хоть чуточку терзала совесть накануне роковой встречи с Пушкиным у Черной речки? Спрашивал себя этот фат, этот паркетный шаркун, этот офицеришка, имеет ли он право хладнокровно прицелиться в величайшего из поэтов России и застрелить его? Спрашивал или нет? Только не хватало, чтобы несчастный дед вынудил меня забыть о юном и наглом дуэлянте! Этого допустить нельзя! Тридцати лет мирного процветания недостаточно, чтобы смыть черные пятна с души и пятна невинной крови с рук! Я все это повторял про себя, пока барон горячо благодарил:

— О да! Да! Поезжайте к Кюлье! Я сейчас напишу ему записку! Передайте ему, пожалуйста! Непременно передайте! Объясните ему хорошенько, что речь о жизни и смерти… И настаивайте, настаивайте! Он вас выслушает!..

Мольба старика была так невозможно проникновенна, так жалостна, что и отталкивала, и вызывала сочувствие. Душа моя металась. Я жалел о сделанном столь неосмотрительно предложении, но одновременно был счастлив, что это пришло мне в голову. Будто можно разом хотеть помочь ближнему и погубить его! Он же тем временем нацарапал несколько слов на визитной карточке, запечатал перстнем конверт и передал мне, воскликнув:

— А теперь в путь, добрый юноша! Скорее, скорее! Вся моя надежда только на вас!

Эта двусмысленная фраза поддерживала меня в пути. Невольно прозвучавшая в ней ирония развлекала всю дорогу. В мое распоряжение был предоставлен личный экипаж господина барона.

Доктор Кюлье проживал в новом квартале, сооруженном на равнинной части города, — Монсо. Я увидел перед собой крупного бородача в очках. Взгляд его был острым и отливал сталью, из какой делают скальпели, однако улыбка, напоминавшая компресс из теплой водички, смягчала это впечатление. Час был не ранний — семь вечера, но доктор принял меня, выслушал и согласился поехать со мной. А я подумал, что, не будь маленький Фредерик-Шарль внуком сенатора, вряд ли бы эскулап сдвинулся с места...

Естественно, при осмотре ребенка я не присутствовал, но когда Жорж Дантес вновь появился в кабинете, он был еще не вполне спокоен. Доктор Кюлье в целом подтвердил правильность назначений, сделанных коллегой: диета, слабительное, горчичники, — он просто добавил ко всему этому микстуру на основе опиума, чтобы уменьшить приступы удушья. Консультант полагал, что воспалительный процесс затихает и что явного улучшения можно ожидать в ближайшие дни.

Как в воду глядел! Вскоре пульс Фредерика-Шарля выровнялся, у малыша перестало колоть в боку, дыхание стало чище. Он теперь меньше кашлял и жаловался лишь на ужасную слабость. К Жоржу Дантесу жажда жизни возвращалась с точно такою же скоростью, как к его внуку, и он повторял при каждом удобном случае, что чудо совершил именно я.

— Если бы не вы, — говорил он, — я бы и не подумал о Кюлье. Я бы не решился обратиться к нему. А ведь это он со своим опиумным снадобьем спас ребенка!

Незадолго до Рождества Фредерик-Шарль стал на ножки и впервые вышел из своей комнаты. Он сильно вырос, все ему стало коротко. Срочно заработала портниха. Жорж Дантес ликовал, он помолодел лет на десять. Чтобы отпраздновать выздоровление внука, он решил устроить праздничный обед. В виде исключения я был на него приглашен...

Вот так, притворяясь, что разделяю общее веселье, я первый раз полностью погрузился в атмосферу этой семьи. На самом деле меня жгло такое любопытство, что я забывал есть. Конечно, меня посадили на краю стола и никто не обращался ко мне, но тем не менее старейшина сделал меня частью клана. Клана, уважаемого и почитаемого со всех точек зрения.

Здесь была старшая из дочерей Жоржа Дантеса Матильда Эжени, с мужем, генералом Метманом — сам в мундире, вся грудь в наградах. Здесь была его вторая дочь, Берта Жозефина, супруга графа Жака Пьера Луи Эдуара де Вандаля, руководителя почтового ведомства. Здесь была и третья его дочь, Леони Шарлотта. Она была незамужней, но зато ведь — фрейлина императрицы! Ну и конечно, сын, Луи Жозеф, вернувшийся раненым из Мексиканской кампании. Именно он, излучая непринужденность и добродушие, главенствовал за столом, перекрывая все голоса своим звучным баритоном.

Все тут было прочным, солидным, богатым, надежно защищенным. Все — без сучка без задоринки. Все безупречно. Образцовое семейство для примера в учебнике по хорошему тону.

Убийца Пушкина с его свояченицей понаделали прекрасных детей, и те, в свою очередь, радостно продолжились дальше. И я, единственный сын у матушки, исходил завистью, глядя на эту большую, дружную и благополучную семью. Успех Жоржа Дантеса дерзко водворился на авеню Монтеня, и это усиливало мое восхищение и обостряло злость. В их роскошной компании я чувствовал себя червем, проникшим в прекрасный плод.

По обычаю, детям накрыли в соседней комнате. Оттуда время от времени доносились ребячий смех, звонкие голоса, и это добавляло прелести собранию родственников. Три прислуживавших на обеде лакея суетились в помещении с дубовыми панелями вокруг стола, накрытого кружевной скатертью и уставленного тонким фарфором и серебром. Десерт представлял собою огромный пирог, изобилующий кремом. Глава рода самолично разрезал его с мастерством и ловкостью, вызвавшими бурные аплодисменты присутствовавших. Когда обслужили взрослых, лакей отнес точно такой же пирог ребятишкам. Мы пили и пили эльзасские вина, и только в половине четвертого пополудни все встали из-за стола.

А часом позже в моем чулане появилась Изабель Корнюше с неизменным подносом. Я отказался от пирога — праздничный пирог пока еще камнем лежал в желудке, но на чай набросился жадно. А экономка меня спросила:

— Ну и как прошел этот торжественный обед?

— Обед был превосходен, и вообще все весьма симпатично, — ответил я. И добавил из вежливости: — Я сожалел только о вашем отсутствии.

Пепельная мадемуазель бросила на меня потерянный от благодарности и покорности взгляд:

— Как можно!.. Я была на своем месте… я обедала с детьми… Надеюсь, они не слишком шумели, не беспокоили вас?.. Ах, они такие подвижные, такие возбудимые — никак не удается заставить их помолчать хоть немножко… Но в любом случае, господин барон и вся семья приняли вас… Это такое чудо!

Я смотрел на нее с какою-то новой нежностью. Только она заслуживала подобного взгляда: она стояла выше и стоила больше всех этих дантесов, метманов, вандалей, которых возносила до небес. Ее преданность службе, долгу, чужим людям отнюдь не унижала, наоборот, возвеличивала милую женщину в моих глазах. Я был уверен, что Пушкин полюбил бы ее. Но сама Изабель не отдавала себе в этом отчета.

— До чего же им повезло с вами, — вполголоса сказал я.

Мадемуазель Корнюше втянула голову в плечи и юркнула к себе в норку.

В следующее воскресенье то же любопытство повлекло меня в Сен-Филипп-дю-Руль, — этот храм, как я знал, служил семье Дантеса приходскою церковью. Какая разница с нашим недавно освященным на улице Дарю собором Александра Невского! У нас атмосфера патриархальная, у нас всё душевно, как-то даже немножко примитивно, словно на деревенском богослужении. Тут всё великолепно, холодно и отлично организовано. Собрание элегантных гостей (иначе не скажешь!) заполняет неф. Вокруг прекрасные туалеты. Мирская суета наравне с религиозными чувствами. Все семейство Дантесов здесь, разумеется, в полном составе. Они сидят на первых скамьях, и из глубины церкви я, разумеется, их почти и не вижу. Но представляю себе, что Жорж Дантес молится истово. Только ведь он не кается, он не просит доброго Бога простить ему смерть Пушкина, помиловать его, нет! Если он и возносит свою душу к небу, то единственно — чтобы повысить биржевые курсы.

Католическую мессу я слышал первый раз, и она показалась мне более культурной, что ли, и менее пылкой, чем православная литургия. Никакие, даже самые гармоничные звуки органа не могли заменить мне нежного и сладкого гудения человеческих голосов, поющих хвалу Господу. Само то, что прихожане тут сидели, а чтоб преклонить колени, ждали сигнала колокольчика, показалось мне до противности комфортабельным. И вдруг у меня мелькнула мысль, тотчас же переросшая едва ли не в убеждение, будто существует два Бога, один французский, этакий весь толерантный, и этот Бог предпочел бы закрыть глаза на трагедию с Пушкиным, а другой наш — русский, бородатый, ревностный и ревнивый, деспотичный… И этот наш Бог, поселившийся на улице Дарю, Он и велит мне ударить как можно сильнее. Я вышел незадолго до окончания мессы, чтобы не возникла надобность излагать свои впечатления о святой католической литургии господину Дантесу.

Последние дни декабря прошли незаметно, ничего особенного не случалось. Выплачивая мне заработанное в конце месяца, Жорж Дантес прибавил к нему то, что назвал «вознаграждением за верную службу». Изабель Корнюше удостоилась «награды за преданность». Я принял нежданный дар, выразив раболепную признательность, какая положена в таких случаях. А назавтра, 1 января 1870 года, явился к своему щедрому работодателю «с наилучшими пожеланиями».

В прихожей яблоку было негде упасть. Тут толпились все, кто рвался в друзья к господину барону, те, кто уже был ему чем-то смутно обязан, и те, кто намеревался стать его должником — все торопились засвидетельствовать свое почтение и невыразимую симпатию к хозяину дома. Нет, зря я иронизирую — этот человек, решительно, любим всеми. Каждую секунду звякает колокольчик у входной двери. Несут и несут… Пакеты, визитные карточки, цветы… Да, он любим всеми. Всеми, кроме меня, хотя как раз по отношению ко мне он то и дело проявляет поистине отеческую доброжелательность. А вынес ему окончательный, не подлежащий пересмотру приговор кто-то другой, не я, это было сделано помимо меня, лишь — через мое посредство. Другой, одно имя которого станет моим оправданием, когда придет время свершить акт возмездия. Для того чтобы войти в кабинет, посетители выстаивали длинную очередь. Когда пришел мой черед и я стал на порог, хозяин, приветливо протянув руки, двинулся ко мне.

Я забормотал:

— Разрешите, господин д’Антес, выразить вам свои наилучшие пожелания на Новый год!

Мою наглую ложь барон принял с обезоруживающей легковерием улыбкой.

— А я вам желаю, со своей стороны, полного успеха во всех ваших начинаниях…

Несчастный! Он ведь не подозревал, что единственное «начинание», о полном успехе которого я страстно мечтаю, это исполнить вынесенный ему смертный приговор! Он излучал барскую любезность, пожимая мне руки. Мы еще немножко поболтали о том о сем, затем я уступил место другому визитеру.

Вечер мы с Даниэлем де Рошем провели в «Мабилль». Адели не было. Наверное, уже подобрал кто-то, что ж, остается надеяться, что девица в хороших руках. Возвратившись домой, я написал матушке, написал о том, как люблю ее, как желаю всего самого доброго. В каждом своем послании она торопила меня поскорее уехать в Ниццу, а я в каждом ответном заверял, что не премину это сделать в ближайшие дни, хотя превосходно чувствую себя в Париже, где завязал ценные знакомства.

Назавтра я стал жертвой дурацкого происшествия, которое в тот момент, как я опасался, могло погубить всю мою стратегию. Стоило выйти на улицу и двинуться в направлении авеню Монтеня, где ждала работа, мчавшийся галопом фиакр опрокинул меня на землю. Со всех сторон набежали прохожие, желающие помочь. Кучер принялся извиняться: он, дескать, не смог сдержать упряжку, поскольку за ночь подморозило и мостовая покрылась корочкой льда. У меня глухо болело бедро, я сильно хромал. Но тем не менее решил идти к барону, который ждал своего секретаря, как обычно, к трем пополудни. Омнибус довез меня до Елисейских Полей. Забыл сказать: в момент, когда меня ударило о землю, я испытывал ужасный страх. Нет, я не боялся быть убитым, я боялся умереть до того, как смогу исполнить свою миссию. И случившееся заставило меня понять, что подобная опасность с каждым днем переноса казни Жоржа Дантеса на более позднее время все возрастает и возрастает. Я ведь нахожусь во власти любой болезни, со мной может случиться любая авария, или вдруг я просто так ослабею, что оружия в руках не удержу… А веду себя между тем, будто совершенно неуязвим. Нужно выбрать точную дату!

В этом состоянии духа я пришел в дом номер 27 по авеню Монтеня. Узнав о моем приключении, хозяин заявил, что меня непременно осмотрит доктор Флош. Я было запротестовал, но тщетно: еще во время нашей беседы он отправил за врачом экономку. Признаюсь, сочувствие барона, его забота тронули меня. Даже растрогали. Приехал эскулап, тщательно осмотрел ногу, прощупал, простукал, повертел ее так и эдак, заключил, что боль моя ведет происхождение от множественных ушибов, к счастью, не тяжелых и не опасных, прописал успокаивающие мази и полный покой на неделю.

Меня отправили домой, где я принялся искать утешения, перечитывая в десятый, наверное, раз знаменитое письмо Жуковского Сергею Львовичу Пушкину, отцу поэта, — то самое, где описывается агония. Издания того времени широко цитировали это письмо, и по Лицею оно ходило переписанным во множестве экземпляров. Один такой экземпляр я и увез в Париж, чтобы подогревать себе кровь, коли почувствую, что решимость моя ослабевает.

Назавтра меня так всего ломало, что я благословил мудрость доктора Флоша, назначившего мне на несколько дней постельный режим.

Я заканчивал бриться, когда постучали в дверь. Подумал, что хозяйка, как всегда, принесла завтрак. Открыл — и замер потрясенный. В коридоре стояла мадемуазель Изабель Корнюше собственной персоной — вся в сером, на голове лиловый капор, на руках — лиловые же перчатки, в правой — маленький пакетик. Она еще часто дышала после подъема по лестнице. Щеки ее были розовыми: покусал морозец на улице. От смелости ее поступка я совершенно растерялся. Впрочем, и сама Изабель казалась смущенной и даже испуганной тем, что нашла меня тут одного в явно холостяцкой комнате.

— Я пришла узнать, как вы себя чувствуете, — пролепетала она. И повторила, уже со знаком вопроса: — Как вы себя чувствуете?

— Чувствую себя несколько разбитым, но держусь! — улыбаясь, ответил я.

И придвинул нежданной гостье свой единственный стул.

Прошуршали юбки, Изабель села. Протянула мне пакетик:

— Вот… принесла вам эльзасского пирога…

— Бог с вами, зачем же… — воскликнул я. — Не надо было беспокоиться!

— Надо… надо… — по-прежнему — лепетала она. — Между нами ведь уже установилась традиция, не так ли? Разве не так? Но я-то считала ее установившейся и старалась придерживаться…

Как будто опомнившись, она сменила тон и продолжила по-матерински назидательно и даже с некоторым напором:

— Главное, не забудьте о примочках и мазях. Это облегчит ваше состояние.

— Будьте покойны! — улыбнулся я. — С первой же минуты стараюсь в точности следовать назначениям доктора Флоша, дабы иметь возможность побыстрее вернуться на авеню Монтеня.

— О да! Да! Поступайте так и дальше! Заклинаю вас! И будьте впредь благоразумны. Нам… нам уже так сильно вас не хватает…

Изабель даже не выговорила, она выдохнула, опустив очи долу, эти слова, и я вдруг сообразил: «Батюшки! Да она же влюблена в меня без памяти!» Мысль такая льстила мне, но одновременно ставила в чрезвычайно затруднительное положение. Конечно, барышня она довольно миловидная и волнует своим простодушием, не скрою, я чувствовал готовность сжать ее в объятиях, я уже сгорал от желания ощутить жар ее губ на своих и пить ее дыхание… но при всем при этом страшно опасался оказаться втянутым в любовную интрижку в то самое время, когда мне нужна голова совершенно свободная, иначе не довести до конца успешно дело чести.

— Ну вот… держите… — произнесла она тем временем, разворачивая пакетик.

Я взял свой кусок пирога. Наши руки соприкоснулись. Она задрожала. Мне стало жаль ее и стыдно за себя. И я вдруг возненавидел несчастную пепельную барышню — хотя бы за то искушение, какое она являет собою, сидя здесь, у меня, со своими тесно сведенными коленками в двух шагах от моей постели. Ах, если бы я мог, уткнувшись в эти ее колени, исповедаться, выговорить ей свою тайну, объяснить, что я не принадлежу себе, что я всего лишь посланник умершего, а умершим этим был гениальный поэт Пушкин, что я не имею права вкусить и толики земных радостей, пока не отомстил, что я связан клятвой, что я хочу ее, хочу, хочу, что я несчастен, страшно одинок, что я безумец, что я — русский… Ничего этого я не сказал и, чтобы овладеть собой, взялся за эльзасский пирог, который был необычайно нежен, просто-таки таял во рту. Я жевал, а она не сводила с меня страстного взора. Столь двусмысленную ситуацию продолжать было невозможно. Единственное слово, единственное движение — и все! И мы оба в ответе за случившееся.

Изабель поднялась. Мы стояли так близко друг от друга, что я чувствовал тепло, которое излучала ее кожа. Но Пушкин был сильнее. В порыве, нахлынувшем на меня, смешались немыслимое сочувствие к девушке и… и некоторая жестокость, которая показалась мне совершенно ужасной. Я взял руки Изабель в свои, покрыл их поцелуями и сказал:

— Нет, Изабель, дорогая, нет… Давайте не станем портить нашу чудесную дружбу… Спасибо за то, что пришли…

Глаза ее расширились, затуманились слезами, губы задрожали еще сильней, жалко изогнулись. Мой отказ ранил пепельную барышню в самое сердце. Мне почудилось, будто она вмиг постарела. Какая-то сгорбленная, поникшая, молча пошла к двери. Я не стал удерживать. А стоило ей скрыться, рухнул на кровать, грудь мою сотрясали рыдания, я называл себя идиотом и чудовищем.

В тот же самый вечер, словно бросая вызов, я, плюнув на больную ногу, пошел в «Мабилль». Адель на этот раз оказалась на месте и свободна. Мы сели за столик, и я стал бешено веселиться. Пили шампанское, хохотали. Но и напиваясь, и уже под парами, я не мог изгнать из памяти бледное личико Изабель, которую так незаслуженно унизил и оскорбил. Как знать? Может быть, именно ей, пепельной барышне, было суждено стать женщиной моей жизни! Но я решил посвятить себя Пушкину. А она стала первой жертвой моего странного предназначения. В два часа ночи я привез Адель к себе, в свою комнату. Она принялась, смеясь, сбрасывать одежки. Я сдерживался: больше всего мне хотелось плюнуть ей в физиономию — в наказание за эту простонародную радость. Но у нее были красивейшие груди… И она потрясающе целовалась, будто всего тебя втягивала в свой рот, жадно, умело… профессионально. И потом, она была француженка, и это, как мне казалось, только добавляло пикантности моим достижениям.

Обладая девкой, я пьянел в равной степени от наслаждения и от гадливости. Но с нею я, по крайней мере, не предавал Пушкина. У нее не было души, она не была творением Божьим. Пара ляжек с дыркой между ними. А в том состоянии, что я сейчас находился, ничего иного и не требовалось. Я ей заплатил после любви — как платят кучеру или чистильщику башмаков, когда вас хорошо обслужили. И Адель отбыла, довольная выручкой.

А я, ослабев, валялся поперек кровати, пресыщенный и угнетенный тем, что со мной происходит. Нельзя и дальше плыть по воле волн, подчиняться обстоятельствам. Время сосчитано. События дня навязывали решение, причем решение категорическое. Необходимо было выбрать точную дату, выбрать день, когда мой план осуществится. Долго колебаться я не стал. Для того чтобы акт возмездия нашел максимальный отзвук везде в мире, а особенно в России, я назначил казнь барона Жоржа Дантеса на святой день годовщины смерти поэта.

Пушкин был тяжело ранен на дуэли 27 января и скончался в ужасающих мучениях ровно через двое суток — 29-го. В Царскосельском лицее, как я уже говорил, сложился обычай отмечать день

памяти поэта именно 29 января, а мне всегда было жаль, что эта честь не была возложена на день роковой дуэли. На 27 января. И все-таки я решил придерживаться лицейской традиции. Совершенно необходимо, думал я, чтобы смертью барона Жоржа Дантеса знаменовалась годовщина того дня, когда закатилось Солнце русской поэзии. Когда Александр Пушкин закрыл глаза, чтобы никогда уже не открыть их снова.

Так. Стало быть, мне назначено убить барона 29 января. То есть остается меньше месяца на подготовку искупительного жертвоприношения, и за это время надо продумать все в мельчайших подробностях. После хладнокровного подсчета я решил, что срок вполне достаточный. А потом, перебирая в уме детали трагической кончины поэта, вдруг осознал, страшно этому удивившись, что если бы Пушкин не был убит на дуэли в тридцать семь лет, то сейчас ему было бы семьдесят. И с горечью подумал, сколько бессмертных шедевров могло бы быть им создано за столько долгих лет! Какая огромная потеря для человечества, вмиг лишившегося божественного источника, казавшегося до тех пор неисчерпаемым!

Но… но не стала ли эта преждевременная смерть удачей — удачей с точки зрения памяти о поэте? Ведь как представить себе Пушкина, этого вечного юношу, этого дерзкого, непочтительного фантазера, всегда влюбленного и всегда любимого, как представить себе его болтливым, вздорным стариком, рассудок которого уже наполовину угас? Как представить себе Пушкина, жизнь которого заканчивается в постели, с травяным снадобьем на ночном столике у изголовья, в шерстяном ночном колпаке? Как? Может быть, сама легенда о великом поэте потребовала, чтобы он ушел в лучах славы, в расцвете сил, чтобы промелькнул — яркой кометой, метеором в черном небе? Может быть, Жорж Дантес, сам того не понимая, оказал ему услугу, позволив избежать неизбежного ослабления, разрушения творческих сил? Может быть, полагая, будто выпустил в противника пулю, барон на самом деле запустил пружину не подвергающегося действию срока давности культа своей жертвы, вечного поклонения ей? Может быть, как раз благодаря ему Пушкин для каждого и сегодня не просто величайший поэт России, но и самый привлекательный, самый романтический герой русской литературы?

Одним выстрелом блестящий, превосходнейший, тут спору нет, писатель превращен в образец для подражания, в национальный миф?

Принеся Пушкина в жертву, Жорж Дантес подготовил его обожествление?

Но… но если это так, если обстоятельства, перечисленные мною, признать истиной, — разве правомочно мое стремление убрать с лица земли того, кто тем роковым утром 1837 года даже не подозревал о почти сверхъестественной значимости человека, коего он взял на мушку?..

Идя постепенно к подобному финалу своих рассуждений, я чувствовал все более сильные угрызения совести и одновременно понимал, что копилка подобных аргументов самой природой своею может иметь одно лишь назначение: отвратить меня от задуманного, удержать от исполнения долга справедливости. Потому, оказавшись в финальной точке, решительно вымел все сомнения и обнаружил, что как никогда зрел и непреклонен в своем человекоубийственном намерении. И тогда, в полном ладу с совестью, опустился на колени перед своей маленькой иконой и принялся горячо молить Господа о помощи в ужасном своем, в необходимом своем предприятии.

Несколько дней спустя, вернувшись к работе, я с нетерпением ожидал подносика с чаем и пирогом в своей тесной и темной каморке. Однако моя пепельная барышня, мадемуазель Изабель Корнюше, не появилась. Вместо нее подносик принесла незнакомая мне служанка. И я понял: милая, нежная экономка наказывает меня за пренебрежение ею, и загрустил столько же о себе, сколько и о ней.

Глава VII

Во вторник 11 января 1870 года я, как обычно, пришел в дом номер 27 по авеню Монтеня и застал там своего работодателя, барона Жоржа Дантеса, в таком бешенстве и настолько расстроенным, что первым делом подумал о новом семейном несчастье. Быть может, здоровье маленького Фредерика-Шарля улучшилось лишь на время, а теперь наступил рецидив болезни? Но хозяин внезапно вывел меня на верный путь.

— Вы читали газеты? — вскричал он, едва меня завидев.

Я признался, что не имел сегодня на это времени. И он тогда ткнул пальцем в стопку изданий, громоздившихся на письменном столе. Все они кричали об одном: о случившейся накануне смерти журналиста из «Марсельезы», некоего Виктора Нуара, убитого членом императорской семьи, принцем Пьером Бонапартом. Я мало что понял, но Дантес в нескольких рубленых фразах наметил фактическую сторону всего этого дела.

Оказалось, что принц опубликовал ядовитую статью, направленную против республиканцев Корсики, в результате чего завязалась острая дискуссия между ним и господином Рошфором, главным редактором «Марсельезы», неизменно оппозиционной режиму. Пьер Бонапарт, пылкий и нетерпимый, вызвал Рошфора на дуэль, тот прислал секундантов. Слишком поздно: двое сотрудников газеты, Ульрих де Фонвиль и Виктор Нуар, явились уже в Отей, домой к принцу, с требованием, чтобы тот отказался от вызова. Но, вместо того, чтобы исполнить требование, Пьер Бонапарт после короткой перебранки выхватил револьвер и выстрелом в упор смертельно ранил Виктора Нуара. Гибель публициста «из левых» спровоцировала вспышку народного гнева, которую Жорж Дантес воспринимал как «несоразмерную событию», а повод к ней — «смехотворным».

— Этот Виктор Нуар был настоящим канальей, он продался врагам Империи, — кипел барон. — Борзописец — без таланта, без морали! Писака! А приверженцы плебса делают его мучеником! Им был необходим труп, чтобы обеспечить толчок движению масс, массам всегда нужен для этого труп! Ну и предместья уже охвачены недовольством. Уже организуются манифестации протеста. Полиция сбилась с ног, изнемогает от усталости. И опасаются уличных беспорядков…

Из всего услышанного я извлек один полезный для себя вывод: барон Жорж Дантес одобряет убийство человека во имя политических целей. Идеологическое убийство для него не только законно, но и почитаемо. Таким образом, он, в общем-то, выражал согласие со мной, готовившимся убить его самого — он заранее оправдывал мой поступок, он вошел в мою игру.

— Конечно, я сожалею, что принц Пьер Бонапарт позволил себе забыться до такой степени, так вспылить. Но жалею единственно потому, что, убив Виктора Нуара, принц невольно повредил авторитету их величеств в глазах простонародья. И теперь, дабы успокоился мятежный дух, император вынужден будет арестовать виновного и отдать его под суд. Досадно, досадно!

— Принц отделается выговором, — прошептал я, улыбаясь.

— Хотел бы думать, как вы! Он действовал как человек чести. Его ранг, его происхождение запрещают ему дуэль с таким отпетым мошенником, как Рошфор. Но он не мог допустить очередного натиска воинствующей чванной наглости, не наказав хотя бы одного из ответственных за случившееся!

Жорж Дантес дышал прерывисто, кровь бросилась ему в лицо. Можно было подумать, он защищает собственные интересы. Нет никаких сомнений, это дело о сорвавшейся дуэли и поспешной казни волнует его так, будто самым непосредственным образом в драму был замешан он лично. Возможно, в нем проснулись давние собственные ощущения, ощущения тех времен, когда случилась распря с Пушкиным. Догадываясь, что воспоминания навалились на него тяжким бременем, что еще чуть-чуть — и он склонится к исповеди, я решил протянуть барону спасательный круг и сказал со вздохом:

— Как нам судить человека, совершившего непоправимое ради спасения своей чести!

— Да-да! — подхватил Дантес. — Я и сам знавал такое. И мне в молодости приходилось принимать весьма рискованные решения. Но как в подобном случае быть? Из гордости бросить вызов смерти или из осторожности принять унижение? Случаются минуты, когда человек с характером идет на риск потерять жизнь, лишь бы сохранить свое человеческое достоинство. И последнее оказывается важнее!

Я решился подбросить еще дровишек в огонь:

— Вы намекаете на ваши отношения с Пушкиным?

Сказал и испугался: не зашел ли чересчур далеко, но его, казалось, совсем не удивил мой вопрос.

— Да, — ответил Дантес и глазом не моргнув. — Полагаю, вы в курсе этой истории.

— В курсе… — пробормотал я, хотя, признаться, был уже совсем не рад своей инициативе.

А барон расположился в кресле поудобнее и, подняв голову, уставился на меня инквизиторским взглядом.

— Господин Рыбаков! — сказал он строго. — Когда вы желали быть мне представлены, вам уже было известно, что это я убил Пушкина на дуэли?

Мог ли я отрицать очевидное? Надо идти напролом.

— Разумеется.

— И несмотря на это?..

— Но это такая древняя история…

Он помолчал. Потом спросил снова:

— Скажите, а об этом еще говорят в Санкт-Петербурге?

Тут я предпочел солгать.

— О нет, нет, месье!.. Конечно же, нет!.. Тридцать три года прошло!.. Все давным-давно забыто!..

Дантес машинально барабанил изуродованными ревматизмом старческими пальцами по краю стола, глаза его были неподвижны — словно он смотрел внутрь себя самого. Вглядывался в прошлое. Так прошло несколько минут, и я дождался.

— Что ж, тем лучше, тем лучше! — проворчал он. — В те времена некоторые ваши соотечественники выказывали чересчур сильное возмущение в мой адрес. Просто-таки прилив народного гнева случился… Дескать, я убил их национальную гордость! Их великого поэта!.. Я, стало быть, человек куда как более ужасный, чем Пьер Бонапарт, подстреливший такое ничтожество, как Виктор Нуар… Но ведь были тогда в России и другие, причем высокопоставленные лица, признававшие, что с моей стороны это была самозащита, что у меня и не нашлось бы иного выхода… Вы удивились бы, назови я имена тех, кто тогда взял мою сторону в этой неприятной истории… Царь, не желая дискуссий с общественным мнением, рубил в то время сплеча: меня разжаловали, выслали из России… Пришлось уехать в разгаре зимы, в открытых санях, и жандарм сопровождал меня до самой границы… Как преступника!.. Моего приемного отца, барона Якоба ван Геккерена, вынудили подать в отставку, хотя как посол Нидерландов он был безупречен, лучшего не пожелаешь… Ваша страна, сударь, оказалась несправедлива к нам — к моему приемному отцу и ко мне… — Он рассыпался неприятным смешком и добавил: — Впрочем, как у вас говорят, нет худа без добра. Я часто думаю: не случись этой дуэли, я бы продолжал свою скромную карьеру в русской армии, а коли продолжил бы, то — чего бы достиг? А ничего! Закончил бы свои плачевные дни полковником, стоял бы с гарнизоном в каком-нибудь скверном городишке, жил бы на офицерское жалованье, а рядом со мной куча моих детей и внуков болтали бы по-русски и посмеивались над моим акцентом… Так что, можно сказать, Фортуна улыбнулась мне! Повезло.

— Заслуженно повезло! Тысячу раз заслуженно! — поторопился сказать я, проглотив негодование.

А он продолжал надменно:

— Кроме того, не обошлось и без реванша: Россия, можно сказать, извинилась передо мной за непонимание! Незадолго до того, как Наполеон III стал императором, в бытность свою принцем-президентом, он поручил мне ответственную миссию при Министерстве иностранных дел. Благодаря ей состоялась моя встреча с царем Николаем I в Берлине. Так вот, царь принял меня весьма доброжелательно, припомнил все мои заслуги перед русской армией, ни словом не намекнул на инцидент с Пушкиным и заверил меня в неизменно дружеских чувствах России к Франции.

Я был изумлен, я был растерян. Получается, что государь наш унизился, подал руку тому, кто лишил Россию ее самого великого поэта… Кому, как не мне, надлежит исправить эту вопиющую несправедливость! И теперь уже ясно как день, никаких сомнений нет и не может быть в том, что мой собеседник не испытывает ни малейшего раскаяния, он не знает угрызений совести, он хладнокровно поднял дуэльный пистолет в тот роковой день и по сию пору считает, что поступил правильно! Интересно, а он прочел в своей жизни хоть одну строчку Пушкина, пусть даже в переводе Мериме? Вряд ли… Его нимало не интересует литература даже собственной страны! Безразличный ко всему, что не есть политика, финансы и семья, Дантес может служить и служит в моих глазах олицетворением просто-напросто карикатуры на человека, добившегося настоящего успеха в обществе!..

Поскольку пауза в разговоре стала чересчур долгой, я хотел было отправиться в свою конуру, но хозяин удержал меня:

— Вам некуда торопиться… архивы подождут…

Я догадался, что на сердце его лежит еще какой-то груз. Он не понимал, что жажда исповеди делает его неосмотрительным, и — совершенно явно — не мог больше молчать. Некоторое время барон, опустив голову, вслушивался в себя, потом вдруг произнес, словно бы говоря с самим собой, и взгляд его при этом блуждал где-то далеко отсюда:

— Он сам был виноват во всем… Я делал невозможное, чтобы усмирить его бешеную ревность… Жена его была ни в чем не виновна… Самое прекрасное создание во всем Санкт-Петербурге!.. Кокетлива, но холодна при этом, как лед, настоящая ледышка… Между нами никогда ничего и не было, кроме салонных любезностей, записочек, переглядываний… И я женился на ее сестре, чтобы умолкли наконец сплетни, чтобы у Пушкина не осталось никаких подозрений… Нет, ему и этого было недостаточно!.. Он прислал мне секундантов… Если бы я отказался принять вызов, пострадала бы моя честь…

— Вы так щепетильны в вопросах чести! — поддакнул я.

— Да, у меня есть такая слабость, — с гордостью откликнулся он. — Не так давно, в 1867 году, я согласился быть секундантом своего коллеги по Сенату месье Бернара Лаказа, когда он вызвал на дуэль этого гнусного «мыслителя-свободолюбца» Сент-Бёва за антиклерикальные речи во время Ассамблеи.

— И что, дуэль эта имела место?

— Нет. Обменявшись кисло-сладкими письмами, противники помирились. Все уладилось, и раздосадованному Сент-Бёву оставалось только апеллировать к общественному мнению.

Но я все возвращался к своему.

— Я вот хотел еще спросить о Пушкине… Когда вы встретились, когда уже началась дуэль, вы ведь могли выстрелить в воздух… так иногда делают…

— Я — да, мог, но ведь он ни за что так не поступил бы! Кто-то должен был пасть: либо я, либо он… Моя жизнь против его жизни… И у меня не было выбора… О Боже… Печальная, печальная, далекая история… Мы с моей покойной женой много страдали из-за нее…

Дантес замолчал. Когда он говорит искренне, когда лукавит?.. Искренне ли он радуется тому, что вовремя сменил курс и теперь, благодаря высылке из России, стал почитаемым богатым человеком? Или, наоборот, искренне сокрушается и вздыхает, вспоминая кровавое недоразумение, которым отмечена его молодость? Кому я собираюсь отомстить: невольному убийце, кающемуся грешнику, человеку, непременно желавшему защитить свою честь, или надутому от спеси сенатору, ничуть не задумывающемуся о том, что совершил, и гордящемуся своим банковским счетом?

Я понял: стоило мне оказаться с ним лицом к лицу, и нить рассуждений оказалась утеряна. Все, что до сих пор было ясно, все, что мое сознание воспринимало как очевидное во время одиноких раздумий в четырех стенах комнаты, немедленно начинало затуманиваться, вскипать, бурлить… стоило сесть напротив этого убийцы во плоти, этого старика с потрепанной физиономией, с тяжелым взглядом и бородкой, как у императора, стройный план грозил рассыпаться в прах. А он теперь потирал руки, утратившие с возрастом гибкость. Ревматизм мучает…

Вдруг Дантес спросил:

— А что, Пушкин и на самом деле был таким великим поэтом, как говорили?

— О да, месье! — воскликнул я.

— Вроде Виктора Гюго?

— Нет, куда больше!

— С каким же французским писателем вы могли бы его сравнить? — с едва заметной усмешкой поинтересовался барон.

— Ни с каким, сударь. Он был… он был уникален… Пушкин был один.

Я тут же пожалел о своем ответе: мне следовало придерживаться его мнений, ежели я хочу сохранить его доверие до конца. Явно недовольный пылкостью и категоричностью моего ответа, Дантес нахмурил брови и проворчал:

— Да… да… возможно… Однако, в любом случае, сегодня-то уже ни к чему так восхвалять его…

Мне внезапно пришло в голову, что для Дантеса смерть Пушкина стала чем-то вроде драмы на охоте. Этакий случайный выстрел: думал, что прицелился в зайца, а попал в почетного гостя хозяев замка. Досадная ошибка. Промах. Не более того. А русские, видите, из мухи слона сделали. И еще мне показалось, что он сожалеет о своем порыве, сожалеет об исповеди перед простым секретарем. Вялым жестом руки барон сделал мне знак идти работать. Я был счастлив оказаться наконец в своей заваленной бумагами берлоге.

Не успел я вечером прийти домой, как ко мне явился Даниэль де Рош, еще более возбужденный, чем обыкновенно. Бледный как смерть, глаза вытаращены, галстук набок… Ворвавшись, сосед почти закричал:

— Вы слышали? Вы в курсе? Эти клевреты Империи полагают, будто им все позволено! Между ними и нами идет война! Открытая война!

Он сунул мне под нос «Марсельезу», где на первой полосе была напечатана статья Рошфора, окруженная траурной рамкой. Клеймя убийцу Виктора Нуара, необузданный памфлетист прямо призывал всех противников режима объединиться и превратить похороны убитого его коллеги, которые должны были состояться назавтра, в массовое шествие.

— Хотите, пойдем туда вместе? — нетерпеливо спросил Даниэль.

Среда. День, когда я у Дантеса не занят. Настолько же от нечего делать, сколько желая бросить вызов, я согласился пойти. Вечер мы провели в ресторане, и сосед, не умолкая, комментировал преступление Пьера Бонапарта. А я… я еще и раздувал его пыл — с такою же легкостью, с какой поддакивал Жоржу Дантесу, когда тот оправдывал поведение принца. На самом деле все это было мне совершенно неинтересно, все, что происходило во Франции, оставалось чужим для меня. Единственным обстоятельством, привлекавшим меня в деле Виктора Нуара, точнее — в деле Пьера Бонапарта, было его сходство с тем приключением, какое я наметил пережить себе самому. Можно подумать, Небо поддерживает мое намерение, ведь мне была предложена словно бы сценическая репетиция того, что вскоре должно было произойти в кабинете барона Жоржа Дантеса. Объяснение в нескольких словах, выстрел, падающее тело… Наверное, я мог бы вызвать барона на дуэль, но, на мой взгляд, он подобной чести не заслуживал. И потом… потом, он был слишком стар для поединка. Что же до продолжения, то — посмотрим: если принцу вынесут оправдательный приговор, а это вполне возможно, то почему не оправдать меня? Впрочем… если меня приговорят к смертной казни — еще лучше! Я был заранее согласен пожертвовать жизнью и, умирая, я обеспечил бы себе бессмертие!.. Даже мысль о горе, которое причинит мой поступок матушке, не удерживала меня: я знал, насколько моя матушка легкомысленна, и понимал, что убиваться она станет не дольше, чем вдова Пушкина.

На следующий день я отправился с Даниэлем де Рошем на похороны. Вынос тела состоялся в Нейи — там жил покойный. Улицу Перроне охраняла полиция. Когда мы прибыли, здесь как раз только-только пришел в медленное движение траурный кортеж. Громадная гудящая толпа окружила катафалк, заваленный венками. Людская река потекла по Нейи к столице. Продвигались, шаг за шагом, выкрикивали политические анафемы, пели «Марсельезу»… В этом колышущемся потоке были одни мужчины — вот доказательство того, что все тут всерьез! Некоторые размахивали дубинками. Внезапно шествие взорвалось криками радости, кажется, не было ни единой глотки, которая не исторгла бы его: манифестанты перерезали поводья лошадей и сами впряглись в катафалк, желая довезти тело жертвы до места последнего упокоения своими силами. Какой-то оратор, заменив на сиденье возницу катафалка, разжигал толпу. Тяжелая повозка в траурном убранстве рывками двигалась к центру французской столицы.

— Как это хорошо! Как это прекрасно! — то и дело восклицал Даниэль. — Если так пойдет, и баррикады появятся!

Он был просто вне себя от возбуждения. Ничего ему не говоря, я про себя удивлялся склонности парижан доводить себя до крайностей. У нас жестокое убийство Пушкина не стало причиной никакого народного волнения: негодование, печаль, протест — все хранилось в душе. Что тут: страх перед жандармами или национальная предрасположенность к молчаливым страданиям?

Добравшись по Елисейским Полям почти до круглой площади, на самых уже подступах к ней распаленная долгим маршем процессия натолкнулась на полицию. Произошло несколько стычек. Со стороны полицейских прозвучали два предупредительных оклика — и манифестанты стали потихоньку расходиться. Однако самые перевозбужденные продолжали суетиться вокруг катафалка

и выкрикивать проклятия убийце. Несколько человек — наугад — были схвачены. Я не мог подвергнуть себя риску быть арестованным как раз в то время, когда готовлюсь нанести Жоржу Дантесу роковой удар, моя миссия требовала осторожности, и, бросив Даниэля де Роша среди волнующейся толпы, я поторопился убраться оттуда. И очень вовремя: приятель мой явился в пансион только под утро — с фонарем под глазом, в изорванной одежде. Он провел ночь в участке, и его бы не отпустили даже после допроса, если бы не вмешался главный редактор его газеты. Но, тем не менее, Даниэль был само ликование:

— Готовится нечто великое!

В моем случае тоже готовилось нечто великое, но несопоставимое с тем, что имел в виду журналист. Он мечтал о революции, я — о священной жертве.

В следующую пятницу становящийся все более и более озабоченным Дантес рассказал мне о бурном заседании Сената. Во время общей дискуссии по поводу похорон Виктора Нуара барон со страстью и категоричностью размежевался с кое-какими, как он сказал, чересчур, на его взгляд, терпимыми по отношению к организаторам беспорядков, коллегами.

— Именно такие люди, как они, — хмурился Дантес, — подрывают основы Империи. И нельзя позволять этому проклятому отродью, этим пустым мечтателям и заядлым болтунам публично высказывать свои вредные мысли!

Я, как обычно, признал его правоту и, конечно же, поостерегся открыть, что и сам шел в траурном кортеже за катафалком убитого журналиста. Взяв сторону принца Бонапарта, который, по его мнению, стал на службу самой Справедливости, барон, сам того не понимая, вернул меня к моим собственным терзаниям.

Время шло. Я считал дни, оставшиеся до 29 января. По мере того, как приближалась назначенная для казни дата, все терял и терял ощущение повседневной реальности, и жизнь моя текла как в тумане, в грезе.

Народные волнения, вызванные убийством Виктора Нуара, мало-помалу улеглись. Чтобы насытить аппетит публики, склонной к ужасам, газеты снова переключились на одного из самых гнусных преступников нашего столетия — Троппмана, минувшим декабрем приговоренного к смерти за истребление целой семьи. Убийца кончил свою жизнь на гильотине 19 января в присутствии громадного скопления народа. Не было корреспондента, который не отметил бы ужаса, отразившегося на лице приговоренного, когда тот поднимался на эшафот. Я проглатывал эти кошмарные отчеты с жадностью, изумлявшей меня самого: неужели я все-таки бессознательно боялся такой же судьбы после принесения в жертву Жоржа Дантеса?

Забыл сказать, что незадолго до того мне пришлось испытать удивление и по другому поводу. Внезапно, минута в минуту в половине пятого, как положено, в мое логово вошла… мадемуазель Изабель де Корнюше с подносиком в руках. Вот это да! Наверное, пепельная барышня решила, что я достаточно наказан ее недельным отсутствием и заменой экономки на простую горничную… Как бы там ни было, пепельная барышня была теперь на вид совсем иной, чем прежде: никакой тебе застенчивости, никакого тебе участия — холодная, отдалившаяся, всем своим поведением подчеркивающая, что ее долг обслужить меня, подав чай с эльзасским пирогом, а очаровывать непокорного в ее намерения не входило и не входит… Мы стали просто наемными работниками барона, объединенными необходимостью выполнять свою работу в одном и том же доме. Я немножко загрустил по этому поводу: было так приятно купаться в атмосфере преданной и осторожной влюбленности. Характер вполне естественной, утешавшей меня в моем одиночестве близости, что сложилась между нами, позволял не тревожиться о будущем наших отношений. Изабель Корнюше, прямо скажем, олицетворяла собою именно тот тип и именно ту точно рассчитанную дозу женской привязанности, на какую я имел право согласиться, не изменяя Пушкину. Я взял поднос из рук Изабель и попытался все же втянуть ее в разговор, выбрав самый простой сюжет:

— Как холодно было нынче ночью!

— Да, месье, холодно, — спокойно ответила она.

— А господи барон показался мне усталым сегодня…

— Господин барон сильно устает от заседаний Сената. Господин барон вкладывает во все это слишком много сердца.

— О да! Например, дело Нуара-Бонапарта никак не перестанет волновать его!

— Придерживаюсь вашего мнения, сударь.

Решительно ее ничем не собьешь с тона!

— Интересно, что вы думаете по поводу казни Троппмана, мадемуазель? — попробовал я на время сменить тему.

— Ничего не думаю, месье. Преступник заплатил за содеянное. Это в порядке вещей.

— Но принц Пьер Бонапарт — он же не будет приговорен к смертной казни! — теперь я попробовал вернуться к своему.

— Разумеется, нет, — все так же бесстрастно реагировала на мои восклицания Изабель.

— И вы находите это справедливым?

— Это не мое дело, сударь, и у меня нет мнения по этому вопросу. В мои обязанности не включено требование интересоваться чем-либо, что происходит за стенами этого дома. Все, что я знаю, — это заповедь Господня «не убий»: никто не имеет права лишать жизни себе подобных. По заповедям Господним, ни для какой насильственной смерти не может быть оправдания. И даже если люди вас обелят, Всемогущий вас отринет…

Вот те на! Последняя фраза пепельной барышни глубоко задела меня. Неужели Господь осудит мое намерение отомстить за гибель Пушкина? Приговорит меня к вечным мукам? Но разве может Бог, бесконечно мудрый Бог, встать на защиту жизни и состояния убийцы, а у меня, исполняющего акт возмездия, отнять свою поддержку? Нет! Изабель Корнюше просто дура, просто тупица, она не видит дальше странички своего молитвенника!.. Она превратила Бога в какого-то вульгарного счетовода, который только и делает, что двигает туда-сюда черные и белые костяшки, а мой Бог — великий философ!.. Экономка, видимо, догадалась, что раздражает меня, потому что, прошелестев юбками и спрятав глаза, выскользнула за дверь.

Я снова погрузился в свои бумаги, на душе было скверно. «Осталась еще почти неделя», — думал я с ужасом и нетерпением. Придя к Жоржу Дантесу, чтобы, по традиции, показать ему перед уходом свою работу, я впервые испытал странное ощущение, будто общаюсь с трупом. Он был уже мертв, но обращался ко мне, как живой.

— Я еще раз подумал насчет мемуаров, — сказал барон, — и понял, что это было бы забавно… Пожалуй, предоставлю в ваше распоряжение кое-какие документы, касающиеся моего происхождения, моей семьи. Вам должно будет их просмотреть, описать и классифицировать. Это, конечно, потребует времени, потому надо бы вам приходить сюда отныне каждый день. Естественно, жалованье ваше будет увеличено. Как? Устраивает ли вас, сударь, мое предложение?

Его предложение превосходило все мои надежды… Он попался в ловушку!.. Он сам, сам очертя голову полез в расставленный для него капкан!

Я, внутренне ликуя и, кажется, даже не умея этого скрыть, воскликнул:

— О да! Принимаю его с благодарностью!

В тот же вечер, едва придя домой, я услышал в коридоре торопливые шаги, голоса, мне показалось, будто за стенкой, отгораживавшей меня от соседа, какая-то толчея. Полиция. Обыск у Даниэля де Роша. Наверняка снова поддался на какую-то провокацию, наверняка во что-то не то вмешался на публике… Ну что ж, у него своя навязчивая идея, у меня — своя. Мы оба — безумцы. Мы оба сошли с ума в то самое время, когда потревоженные шпики рыщут повсюду, везде суют свои хищные носы. Я догадывался, что там, в соседней комнате, мой приятель возмущается, протестует, отказывается следовать за сбирами. Наверное, надо было бы мне зайти к Даниэлю, пока они там, надо было бы поручиться за его лояльность как гражданина… Но я не сделал ни-че-го. Я был парализован страхом. И не каким-нибудь неосознанным, а опирающимся на здравый смысл. Когда остается несколько дней до жертвоприношения, нельзя идти в атаку на полицию, даже ради спасения друга. Я пленник своей клятвы, я должен оставаться здесь. И остаюсь — сижу на кровати, сложив руки на коленях, с ничего не выражающим взглядом и отвращением в душе к собственной беспомощности. А может быть, сейчас, вот сейчас постучат и в мою дверь: «Откройте, именем закона!»… Может быть, сейчас ко мне ворвутся, станут меня допрашивать, искать улики, уничтожать мои вещи… Может быть, меня арестуют, чтобы одним выстрелом уложить двух зайцев… Меня прошиб холодный пот… А шаги уже удалялись по коридору. Даниэля де Роша увели. А я… я ничуть не интересовал этих господ. Уф…

Теперь опасность позади, и отныне я могу думать только о себе самом, о Пушкине и о Дантесе. Я поднял глаза на своего ангела-хранителя. Мне показалось, что Пушкин улыбается. Он смеется над

моими страхами со снисходительностью старшего брата.

Глава VIII

В ночь с 27-го на 28 января меня озарило! Я проснулся, поняв, что ошибся датой. Решение мое назначить казнь Жоржа Дантеса на 29 января — день, когда смертельно раненный в живот Пушкин испустил последний вздох, основывалось на принятой у нас, в России, системе летосчисления. И я совершенно забыл, что русский, так называемый «юлианский» календарь запаздывает, по сравнению с французским, «григорианским», на двенадцать дней, иными словами, что наше 29 января соответствует во Франции 10 февраля. Если я хочу увековечить память поэта с максимальным откликом в мире, надо отложить исполнение казни на 10 февраля. Абсолютная очевидность этого повергла меня в прострацию, и некоторое время я лежал, уставившись пустыми глазами в стенку. Мне бы возмутиться столь неожиданной отсрочкой, но я вдруг ощутил, что счастлив. Странно…

Отсрочка. Для кого она? Для меня или для него? Не знаю, не мог бы ответить. Мне чудилось, будто тугой обруч, сжимавший грудь, ослабил свою хватку. И я подумал: заболей сейчас Жорж Дантес да помри своею смертью — вот была бы радость! И тут же обрушился на себя с упреками за такую недостойную, трусливую, низкую мысль. После того, что барон сделал, он не заслуживает мирной кончины в постели, не заслуживает, чтобы близкие приняли его последний вздох, закрыли ему глаза! Нет, нет и нет! Сейчас еще более чем всегда необходимо наказать убийцу Пушкина моей рукой! Постепенно успокаиваясь, я снова обретал в предрассветных сумерках ту же решимость, что владела мной накануне.

Верный клятве, которая вела меня по жизни все это время, я ходил теперь каждый день на авеню Монтеня, чтобы рыться в папках с бумагами и, перескакивая с пятого на десятое, болтать со своей будущей жертвой. Неделя пролетела с какой-то ирреальной скоростью. Подумать только, что все эти долгие на самом деле часы пустились галопом только ради того, чтобы приблизить минуту, ради которой я — хотелось бы мне верить — родился на свет. Никакие внешние события не могли уже отвлечь меня от цели. Мне оказался совершенно безразличен приговор, вынесенный Рошфору: три месяца тюрьмы, и я едва заметил, что 7 февраля он отправился отбывать срок в Сент-Пелажи. Вечером 8 февраля в Бельвиле и в Тампле были воздвигнуты первые баррикады. То тут, то там хватали мятежников. Город кипел. Но в конце концов вездесущая полиция сумела задушить и последние, уже редкие проявления бунта. Народ поворчал и смирился. Империя не дрогнув продолжила путь. Я был доволен: с лично моей, эгоистической точки зрения, все так и должно было быть — уличные сражения могли опрокинуть мой план. Даниэль де Рош все еще пребывал где-то в темнице, друзей у меня больше не было. Я остался один на один с Жоржем Дантесом.

Утром 9 февраля я пошел в собор на улице Дарю к заутрене. Народу было совсем немного, но я был уверен, что, помимо слуг из хороших домов, неприкаянных эмигрантов-аристократов, возможно, студентов, все это люди моего круга: такие же, как я сам, путешественники, посольские чиновники, светские дамы, прибывшие во Францию поразвлечься… Эта уверенность придавала мне жизнестойкости. Именно ради этих людей я и хотел переступить границу. Если бы они знали, они заранее стали бы превозносить меня, они бы носили меня на руках как триумфатора… Я был настолько в этом убежден, что сама литургия, медлительная и божественно красивая, приглушенные голоса певчих и таинственное мерцание свечей — все, все мне казалось предназначено сейчас лишь для того, чтобы подкрепить мое мужество. Нигде, ни в каком другом месте так, как в этом, где невольно отрешаешься от мирской суеты, я не ощущал связи моей родины с моим дерзким, если не наглым планом, нигде я так остро не ощущал ее согласия на мой план. Париж остался где-то вдали, тут вокруг были свои, я был дома, в России. И Господь, который, по мнению мадемуазель Корнюше, приговаривал всех и за все преступления скопом, делал для меня исключение — во имя Пушкина. Стоя под высоким куполом собора, я чувствовал, что меня не просто милуют — что меня благословляют. Я опустился на колени и, осеняя себя крестным знамением, вместе с братьями и сестрами во Христе благодарил Всевышнего за лучезарное соучастие.

Когда служба закончилась и немногие прихожане разошлись, я купил свечу и поставил ее к образу Вознесения, находившемуся слева от алтаря, там, где высилась колонна. Я знал, что эта икона — дар церкви от императора Александра II. Именно перед ней государь молился, благодаря Бога за то, что помиловал его, сохранил ему жизнь при покушении в Булонском лесу. А я — я, молитвенно сложив руки, опустив голову, горячо просил об удаче завтра, завтра — 10 февраля, в день решающей встречи с Дантесом. Когда я страстно шептал слова молитвы, мне вдруг показалось, будто святой образ едва различимо пошевелился в слабом сиянии свечей. И меня буквально оторвало от земли — я поднимался к Небу, ко Христу! Потом тяжело опустился и снова ощутил под подошвами прочный каменный пол. Теперь я действовал не в одиночку. О как же мне хотелось говорить с прохожими по-русски, выйдя из храма в холодный и туманный парижский февраль…

В тот же вечер, запершись в комнате пансиона, я проверил револьвер, убедился, что все в порядке. Отличное оружие, магазин на десять выстрелов. «Достаточно будет и одного!» — подумал я. Чудовищно, нечеловечески спокойно подумал. И вообще был совершенно спокоен. Гравированный Пушкин со стены безмолвно руководил моим поведением. За ним я разглядел, как наяву, своих

лицейских однокашников, своих братьев по Царскому Селу: у каждого рука вытянута над чашей, где горит священное пламя нашего братства, мы даем присягу на верность. Озаренные отсветами горящего пунша, родные лица кажутся лицами театральных персонажей, взгляды требовательные, словно бы даже грозящие, взгляды их пронизывают стены, им ничто — границы и годы. Презирая время и пространство, мои братья по железному кольцу бьются об заклад, делают ставку на то, что я сполна выполню обязательства, взятые перед самим собой. Я мысленно перечислил фамилии рыцарей нашего «тайного общества»: Горелкин, Клементьев, Зорин… Сколько весомых аргументов для перехода к действию! А за ними стоит вся молодежь моей родины — приказывает отомстить за поруганную честь поэта. Я — поборник справедливости, мне предстоит возродить погруженную в траур страну! И если я в последний момент не отступлю, признательность России мне обеспечена.

10 февраля я пошел на работу, чувствуя, как оттягивается револьвером брючный карман. От торжественности этого последнего свидания кровь леденела в жилах. Я больше не был Александром Рыбаковым, бывшим царскосельским лицеистом, приехавшим осматривать Париж. Я был — Судьба.

Но чем яснее я понимал патриотическую значимость моего поступка, тем сильнее ощущал, как ужас парализует мое сознание и мою руку…

Вид Жоржа Дантеса, мирно, как всегда, сидевшего у себя за письменным столом, был для меня — как удар в грудь. Барон выглядел усталым, тревожным, хмурым — как будто мои шаги прозвучали для него шагами самой Справедливости. Как будто он с самого начала знал, что я собираюсь сделать с ним. Как будто он принял свою участь, смирился с нею.

Я всматривался в него со страхом и жалостью. Сразу выстрелить или немного подождать? Несколько минут… может быть, час… в конце концов, торопиться некуда… в конце концов, для того, чтобы оплатить свои счета, у него есть время до вечера… Ну а если к нему за это время явятся посетители? Так и что? Каким образом это помешает мне разрядить оружие тогда, когда наступит срок? На самом деле, сколько бы доводов рассудка я ни приводил, мне попросту не хватало решимости — я словно бы замер, не в силах ни перейти к действию, ни отказаться от своего намерения. Я уже проклинал взятое на себя обязательство (кто навязал мне его?!), душа моя отказывалась от убийства беззащитного человека. Правая рука непрерывно ощупывала в кармане револьвер. Он жег мне пальцы: «Быстрее! Быстрее! Чего ты медлишь? Чем скорее все кончится, тем лучше!..» И тут мне на ум пришли стихи Пушкина — наверное, чтобы поддержать, не отдать на откуп слабости. А Дантес пригласил меня сесть и сказал:

— Вот подумал, что можно прямо сегодня начать ту работу, о которой мы уже говорили, — над воспоминаниями… Я стану вам диктовать подряд, что вспомнится, а потом, позже, приведем все это в порядок…

«Потом!» Он воображает, что у него есть «потом»! Его неведение взволновало меня. На круглом столике, приставленном к письменному, было приготовлено все необходимое для диктовки: бумага, перья, чернильница… Я машинально собрался записывать за ним, пока не пробьет час убить его. Он стал диктовать — глухо, монотонно, выбирая слова, спотыкаясь на них, замолкая, спохватываясь и начиная говорить снова.

— Я родился 5 февраля 1812 года в Кольмаре от родителей, семьи которых на протяжении многих поколений обитали в Эльзасе. Мой отец, барон Жозеф Конрад, обвенчался с моей матерью, Матильдой Анной Луизой де Хацфельд, в 1806 году…

Все это было совершенно неинтересно, но по мере того, как я записывал все разветвления генеалогического древа, у меня создавалось и крепло ощущение, будто я все глубже и глубже погружаюсь во внутренний мир, в душу человека, которого, как был уверен, ненавижу. Привык ненавидеть. Львиное его, старческое лицо притягивало мой взгляд, околдовывало. Как он, наверное, хорош был собой в те времена, когда Натали отдавала ему контрданс за контрдансом под носом у Пушкина. Револьвер стал тяжелым, давил мне на бедро. Неужели я дрогнул? А может быть, пепельная барышня Изабель Корнюше права, утверждая, что любое человеческое существо, даже обремененное недостатками, имеет право на жизнь? Может быть, даже самые отвратительные из людей заслуживают уважения только потому, что они творения Божьи? Я не мог бросить перо и взять револьвер… Пальцы стали негнущимися, неповоротливыми, в голове звенела пустота. А Жорж Дантес, бесстрастный и неколебимый, как скала, говорил и говорил со своим эльзасским акцентом, передавал и передавал мне ровным своим голосом, все так же, на одной ноте, те воспоминания, которые до сих пор хранил в сердце… Рассказывал о достойных почитания корнях своей семьи, о том, как учился в лицее Бурбон, затем в военной школе Сен-Сир, о том, как возмутила его революция 1830 года, о том, как, будучи легитимистом, отказался служить Июльской монархии, как отправился в добровольное изгнание в Сульц… Я не мог дождаться, когда же дойдет очередь до его

приезда в Петербург и встречи с Натали, но барон с удовольствием задерживался на предыдущих годах. Этак мы к делу приступим не раньше чем через несколько месяцев! А вдруг — может ведь такое случиться! — он пожелает спрятать концы в воду? А вдруг из скромности не расскажет о сути своих разногласий с Пушкиным? В любом случае, до тех пор, пока он подберется к самому для меня интересному, с ним будет покончено.

Мы занимались диктовкой уже час, меня одолевали мучительные и противоречивые мысли, и я перестал записывать. Жорж Дантес заметил, что не все со мной в порядке, и участливо спросил:

— Что-то не так, господин Рыбаков? Вы неважно себя чувствуете?

— Нет-нет, ничего, пустяки… — пробормотал я. — Устал немного…

— Понимаю, я тоже устал. Продолжим завтра, — решил Дантес.

И откинулся на спинку кресла. Я было подумал, что на сегодня вообще все и что он меня отпускает. Оказалось, нет. Барон явно вошел во вкус, возвращаясь в прошлое. Он перебирал, крутил в руках какие-то медальоны, блокнотики, старые пожелтевшие письма — все это в изобилии было представлено у него на столе. Видимо, в соприкосновении со старыми вещами магически пробуждались воспоминания, и это действовало на него подобно наркотику. Потом Дантес встал и указал рукой на портрет, висевший в простенке между окнами: мужчина в расцвете лет, острый взгляд, парадный мундир, крест Почетного легиона на груди.

— Мой отец, барон Жозеф Конрад д’Антес, — представил он. — А вот моя матушка, Мария Анна Луиза де Хацфельд…

Миловидная женщина в очень красивом наряде улыбалась, глядя из позолоченной рамы. Жорж Дантес знакомил меня со своими усопшими родственниками… Потом он выложил на столик с полдюжины миниатюр на слоновой кости, выполненных в форме подвесок:

— Мой сын Луи Жозеф ребенком… Моя дочь Берта Жозефина в день помолвки… Моя сестра Аделаида Филиппина…

Я из вежливости восхищался. Теперь его рука копошилась в старых письмах…

— Думая о нашей с вами работе, я порылся в своей корреспонденции давней поры, — снова заговорил барон. — Чего тут только не найдешь!.. Самые дорогие моему сердцу письма — от моего приемного отца, барона ван Геккерена. К величайшему моему сожалению, он служит в Вене, и мы очень редко видимся. Но, разумеется, не прекращаем переписки, точно в былые времена… Я многим, многим ему обязан!

Интересно, а не сохранилось ли у него в каком-нибудь тайничке записок Натали Пушкиной? Может быть, они даже и письмами не обменивались до того, как случилась трагедия? Такой был обычный невинный флирт, совсем безобидный… И только из-за недобрых взглядов, гнусных шепотков несколько туров вальса привели к смерти поэта… Словно догадавшись, о чем я думаю, Жорж Дантес вдруг спросил — прямо в лоб:

— Жена Пушкина, кажется, скончалась несколько лет назад?

— Да… — растерянно ответил я. — Году в 1863-м или в 1864-м, по-моему…

— Я слышал, она выходила замуж второй раз… после… после смерти этого безумца Пушкина?

— Верный слух.

— За кого же?

— За некого Ланского. Военного. То ли полковника, то ли генерала, уж и не помню…

— Должно быть, полная противоположность Пушкину!

— Думаю, да, сударь, — сдержанно ответил я.

Дантес от души вздохнул.

— Бедная женщина! Такая страшная трагедия и такой ничтожный финал… Никто из нас не представляет собою монолита, никто не может быть цельным всегда… Что у меня сегодняшнего общего с позавчерашним подростком? Вы увидите, молодой человек, вы увидите, что жизнь лепит нас, не спрашивая о нашей воле… И не только лицо меняется с годами…

Я лихорадочно сжал в кармане револьвер. «Теперь или никогда!» — решил я. И сразу же понял, что никогда не смогу выстрелить в этого безоружного, доверяющего мне человека. Симпатия, которую

он ко мне проявлял, смела остатки мужества. Я думал: надо совсем не иметь воображения, чтобы осмелиться выстрелом в упор превратить живого, мыслящего человека, человека, строящего какие-то планы, хранящего воспоминания, о чем-то горюющего, чему-то радующегося, чего-то боящегося, — в кусок мяса. В мертвую материю. Вот в чем дело: у меня-то воображения слишком много! Это оно не позволяет мне действовать! Я не могу… Потому что вот он сидит передо мной, шевелит губами, качает головой, роняет слова, вот он сидит передо мной, барон Жорж де Геккерен д'Антес, победитель Пушкина… Пушкина, который сегодня всего лишь молчаливый призрак… Барон осторожно взял со стола письмо с почти выцветшими чернилами, пробежал текст глазами, задумался, письмо выпало у него из рук… Я понимал, что он не в силах вырваться из плена памяти, что он все еще там — в своей бурной юности, рядом с Натали, на белом снегу близ Черной речки…

— Может быть, взять да и сжечь все эти бумажки? — вдруг спросил барон. — Когда приходит осень, надо без колебаний ступать по мертвым листьям, чтобы выйти из лесу!

А у меня больше не было сил сопротивляться искушению. Я вскочил на ноги и забормотал:

— Простите! Мне нужно уйти!..

— Уже? — недоуменно взглянул на меня Дантес.

— Да… да…

— Вам нездоровится?

— Н-нет, месье…

— Рассчитываю на вас завтра!

— Конечно, обещаю…

Наконец я на улице! Помчался так, будто за мной уже началась погоня, будто меня вот-вот настигнут, будто я слышу стук копыт за спиной. Когда прибежал домой, на меня напал кашель, приступ был страшный, просто грудь разрывалась, и к тому же я почувствовал во рту какой-то противный кислый привкус. Поднес руку к губам и отнял ее — всю в красной слизи. Не кровь Жоржа Дантеса обагрила мои руки — моя собственная! Ирония судьбы! Поистине гротескная ситуация! Болезнь напомнила о себе в самый неподходящий момент… Первый тревожный звонок со времени моего приезда во Францию… А может, ничего, может, обойдется? Нет, я бессознательно переоценил свои силы, вот провал намеченных планов тут же и сказался на здоровье… Раз я тряпка, ничтожество, не способное исполнить клятву, мне и жить незачем. Не заслуживаю я жизни.

Резким движением я выхватил из кармана револьвер и приставил дуло к виску. Холодное прикосновение стали отрезвило меня. Я не смогу убить себя точно так же, как не смог убить Жоржа Дантеса. Мозг мой бурлил, рука оставалась безвольной. Я сжимал рукоятку, но не нажимал на спусковой крючок. Прошло какое-то время, показавшееся мне нескончаемо долгим, рука моя повисла, сам я рухнул на кровать и разрыдался. Гравированный Пушкин со своего почетного места смотрел на меня с ироническим состраданием. Он не гневался на меня — он меня жалел… И это было хуже всего. Пророческие строфы, написанные Пушкиным за год до гибели, зазвучали в моей голове:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный;К нему не зарастет народная тропа;Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа.Нет, весь я не умру! Душа в заветной лиреМоя прах переживет и тленья убежит —И славен буду я, доколь в подлунном мireЖив будет хоть один пиит.Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,И назовет меня всяк сущий в ней язык:И гордый внук славян, и финн, и ныне дикийТунгус, и друг степей калмык…

Назавтра я пришел на авеню Монтеня без револьвера. Жорж Дантес принял меня более чем любезно, продиктовал еще несколько страничек — все бесцветные, скучные, ничем не привлекательные, даже пошлые порою подробности его прошлого. Ничего интересного. Но он был увлечен. А потом вдруг, словно поставив преграду потоку воспоминаний, заявил:

— Я намерен отправиться в конце недели в свое поместье в Сульце. Пора отдохнуть. Думаю пробыть там месяц или два. Как вы смотрите на то, чтобы поехать со мной? Эльзас — совершенно волшебный край, обстановка будет самая что ни на есть семейная, и работать мы сможем спокойнее, чем в Париже.

Это приглашение привело меня в ужас. Предлагая мне разделить с ним прелести сельской жизни, барон возвращал меня к первоначальному намерению. Искушал сделать там то, чего я не смог осуществить здесь. Он хотел любой ценой превратить меня в убийцу, а себя — в жертву. Но… почему бы и нет? Какое значение имеет дата? Все эти числа… это просто цифры, напечатанные на

листках календаря… 10 февраля, 25 марта или 2 апреля — кому какая разница? Важен только результат, один лишь результат. Все зависит от меня самого и от обстоятельств. Я снова запаниковал. И… услышал, как произношу дрожащим голосом:

— Благодарю вас, господин барон… Ваше приглашение глубоко меня тронуло… Я вижу… я вижу в нем доказательство великого доверия… но увы… увы… я не могу принять это лестное предложение… Мое здоровье в последнее время ухудшилось… у меня слабые легкие… и на самом деле я приехал во Францию лечиться… Зима в Париже неблаготворна для меня… мне давно пора быть на юге… и я рассчитывал уехать совсем скоро… как можно скорее…

На его лице отразились досада и разочарование: все было так хорошо придумано. Мы договорились переписываться, договорились, что я приеду к нему в Эльзас или в Париж, когда пройду полный курс лечения солнцем и морским воздухом в Ницце. Столь отдаленная перспектива меня успокоила: словно тяжелый груз свалился с моих плеч. В конце дня Жорж Дантес спросил, увидимся ли мы с ним еще раз до моего отъезда на юг.

— Не уверен, месье, — торопливо ответил я. — Мне нужно уложить вещи, и я попытаюсь отправиться в путь завтра же.

Я бежал от него, как от дьявола-искусителя. Мне чудилось, что я не обрету спокойствия, пока между мною и Жоржем Дантесом не проляжет расстояние в несколько сотен верст… Дантес не настаивал, он пожелал мне счастливого пути и быстрейшего выздоровления, выплатил жалованье. Я положил деньги в карман с острым чувством вины. Мне было стыдно. Мне было плохо. Благодаря подлому, низкому облегчению мои мышцы расслабились, но и мысли будто размякли… Неужели я и сейчас тот самый человек, что мечтал принести Дантеса в жертву на алтарь Пушкина?

В прихожей я встретил мадемуазель Изабель Корнюше и почему-то страшно разволновался. Не решаясь взглянуть ей в лицо, промямлил, что в ближайшее время покидаю Париж.

Ее это удивило.

— Господин барон, однако же, говорил, что намеревается пригласить вас с нами… в поместье… в Сульц… — бормотала она.

— Действительно, господин барон пригласил меня туда, — сказал я, — но мне совершенно необходимо поскорее оказаться на юге Франции.

— Вас там кто-то ждет? — не сдержала любопытства пепельная барышня, и в ее прекрасных серых глазах мелькнуло меланхолическое лукавство.

— Доктор! — воскликнул я, улыбаясь до ушей. — Он полечит меня, и я вернусь здоровым!

Изабель протянула мне руку, и я сильно сжал ее. Мы долго смотрели друг на друга и молчали. Она становилась все печальнее. Да и я, признаться, тоже. Но по разным причинам.

Глава IX

После разного рода недоразумений и переживаний, испытанных мною в Париже, существование в Ницце казалось однообразным и чуточку даже нереальным. Я жил в санатории доктора Лежандра и с утра до вечера плыл по волнам блаженной меланхолии. Ничто меня особенно не огорчало, ничто меня особенно не радовало. Я превратился в безвольное тесто, в кусок глины, отданной в руки врачей и сиделок. Меня заставляли глотать мерзкого вкуса микстуры, меня закармливали укрепляющими продуктами, отпаивали водами, содержащими железо, закутывали с головы до ног и усаживали на балконе — дышать свежим воздухом… Таков был новый, всеми восхваляемый метод знаменитого доктора Лежандра — улыбчивого господина, обожающего прихвастнуть тем, какие творит чудеса.

Творил или не творил, Господь ведает, однако же я благодаря предписанному им режиму начал мало-помалу крепнуть и обретать ушедшую было энергию. Мучительные приступы кашля становились все реже, почти исчезло кровохарканье. Более редки сделались и лихорадочные состояния. В конце месяца мне наконец разрешили выйти в город, но оказалось, что прогулок по нему явно недостаточно для того, чтобы развлечься или хотя бы отвлечься. Главным моим развлечением отныне было чтение газет. Я, который по приезде в Ниццу довольствовался тем, чтобы пробежаться глазами по заголовкам, теперь читал газету целиком — от корки до корки. Искал в статьях и заметках эха парижской жизни, искал сведений о заседаниях Сената — с надеждой увидеть имя барона Жоржа д’Антеса. А пресса упорно о нем молчала, и два письма, посланные ему мною — одно в Париж, другое в Сульц, — остались без ответа. Наверное, у него слишком много дел, чтобы еще и мне уделять внимание… Так я себя убеждал — и убеждался, что серьезно этим задет. Ощущение было таким, будто мною пренебрег друг. Зато матушка часто писала мне. Матушка радовалась, что я в конце концов поступил умно и вверил себя заботам доктора Лежандра, советовала длить мое пребывание в его санатории столько, сколько найдут нужным врачи. Переписывался я и с членами Братства железного кольца. Само собой разумеется, я оставил друзей в полном неведении и о своем намерении казнить Жоржа Дантеса, и о своем позорном отступлении в последний момент. Для них я оставался путешественником, прибывшим на несколько месяцев в столицу Франции, чтобы вкусить здесь удовольствий полной мерой, а нынче отдыхающим под южным солнцем от блаженной усталости распутных ночей… Мне ничего не стоило солгать товарищам — важно было сохранить их уважение.

Впрочем, с течением времени я и сам стал сомневаться в том, было ли что-нибудь или не было ничего. Только вид револьвера, который я хранил под стопкой белья в шкафу, грубо и резко напоминал иногда о моих прежних заблуждениях… И, если говорить начистоту, оружие это стало для меня нежелательным свидетелем, оно меня стесняло, мешало моему покою. Несколько раз я порывался выкинуть его в воды Пайона, но стоило представить, что вот сейчас мы расстанемся — и я поспешно засовывал револьвер поглубже в карман. Как будто еще не отказался от мысли им воспользоваться.

Так текли недели: с одною лишь заботой — о здоровье, которое постоянно улучшалось, с одною лишь надеждой — вернуться в Париж и как можно скорее оказаться снова на авеню Монтеня. Но — зачем? Хотел ли я по-прежнему казнить Жоржа Дантеса? Не хотел, да и знал я теперь, что не способен на это. Надеялся продолжать с ним работу над мемуарами? Нет, эта работа больше не интересовала меня. Мечтал вернуться в покойную атмосферу буржуазного дома с пепельной барышней Изабель Корнюше и чашкой чаю, украшенной ломтем эльзасского пирога, в половине пятого? Просто абсурд! Все эти мысли так настойчиво осаждали меня, что в результате я возненавидел ласково греющее солнце, блистающее лазурью небо, тихое нежное море, экзотику пальм, людей в светлых одеждах и с гладкими лицами… этих бездельников, только и способных, что прогуливаться вдоль кромки пляжа и восторгаться слиянием солнца и воды в марине, уходящей от них к самому горизонту…

Находясь посреди солнца и света, окунувшись в сладкий покой, я тосковал по Парижу, по холоду, по дождю, по серым домам, по грохочущим экипажам, теснящимся на улицах, по запаху дыма и нечистот, по тряске в омнибусе с империалом… К концу июня я понял, что больше тут не выдержу. Считая себя совершенно выздоровевшим, обратился к доктору Лежандру за разрешением прервать лечение. Доктор осмотрел меня, признал, что я и впрямь могу покинуть санаторию, но только при условии, что буду и дальше соблюдать предписанные им режим и диету, а главное — не стану переутомляться.

Я легко все это пообещал и в самом начале июля отбыл в Париж, где, как мне казалось, не был много лет. Боже, каким счастливым я почувствовал себя, оказавшись снова в своей скромной комнатке у мадам Патюрон на улице Миромениль! Единственное, что было огорчительно: Даниэль де Рош так и не вернулся сюда, и моя хозяйка, выяснив, что он приговорен к шести месяцам тюрьмы, уже взяла на его место другого жильца — какого-то старого ворчуна, который не ответил мне на поклон, когда мы встретились на лестнице.

Едва разложив вещи, я поспешил на авеню Монтеня. Лакей с физиономией висельника сообщил

мне, что семья прибыла из Сульца недели две назад. Мадемуазель Изабель Корнюше приняла меня в гостиной — мне показалось, что она и рада видеть меня снова, и смущена тем, что не может сию же минуту проводить к господину барону, поскольку тот как раз беседует с господином префектом полиции. Пепельная барышня говорила шепотом, будто в церкви. Мы сидели друг против друга в просторной комнате, украшенной мрамором, хрусталем и коврами. Изабель не преминула сделать комплимент моему виду:

— Юг пошел вам на пользу, месье… И не слишком жалейте об Эльзасе — погода там была омерзительная…

Я запротестовал: как же, как же, мне было бы очень хорошо в Сульце, несмотря на погоду, потому что я жил бы жизнью семьи. Обменялись еще какими-то любезностями и — умолкли, сказать больше было нечего. Мы смотрели друг другу в глаза, глаза кричали — губы оставались безмолвны. Мне чудилось, будто мы на вокзале, вот-вот тронется поезд, а дальше — разлука, сердце переполнено, а высказать нельзя. Пауза затянулась почти до неприличия, и вдруг я услышал шаги и голоса в коридоре: Жорж Дантес провожал своего посетителя. И сразу же после он приказал позвать меня и принял — сидя за рабочим столом. Прелюдии у господина барона всегда были по-военному коротки — нечего ждать! надо немедля брать быка за рога! идти прямо к цели!

С обычной своей любезностью расспросив меня о том, поправилось ли мое здоровье, он пустился в пространные политические рассуждения и произнес речь, посвященную принцу Леопольду Гогенцоллерну, по его мнению, расположенному принять испанскую корону. Претензии принца на престол вызывали негодование у их величеств и, уточнял барон, у большинства нации, осознающей историческое предназначение страны. Франция не может потерпеть, чтобы с двух сторон от ее границ царствовала прусская династия. «Только подумать: и с востока, и с юга!» — возмущался он. К счастью, судя по последней полученной господином бароном информации, Бисмарк умерил свои притязания и кандидатура Гогенцоллерна, скорее всего, будет отозвана. Описываемые Дантесом дипломатические ухищрения в моей голове не задерживались — пролетали над нею, не оставляя и следа: слишком уж долго я находился вне всех этих конвульсий, сотрясающих мир. Как бы ни была тяжела международная обстановка, я не потеряю из виду цели своего визита! И стоило только Дантесу покончить с темой франко-прусских разногласий, я спросил, будто возобновляя недавно прерванный разговор, продолжал ли он вдали от меня работу над своими мемуарами.

— Нет, — ответил он. — Бросил я эту затею. Все, что происходит сегодня, так серьезно, так важно, что нельзя, нет времени предаваться таким чисто эгоистическим развлечениям. Мы здесь сидим на бочке с порохом, господин Рыбаков, и Бисмарк держит в руке подожженный бикфордов шнур!

— Значит, вы уже не хотите, чтобы мы вернулись к этой работе, — непритворно огорчился я. — А мне начало показалось таким увлекательным!..

— Продолжение было бы менее интересно…

— Однако… однако рассказ о вашем пребывании в России!.. — настаивал я.

— Когда не можешь сказать всего, лучше хранить все в себе, — он прямо взглянул мне в глаза.

— Как жаль, — вздохнул я.

— Ничего не поделаешь, я считаю иначе! — вздохнул он.

Действительно — ничего тут уже не поделаешь.

— А изучение ваших русских архивов? — предпринял я еще одну попытку. — Я же не закончил описей…

— Ничего, — отмахнулся барон. — Можно и это оставить.

Меня несколько ошарашили эти последовательные отказы. А он, вдруг выпрямивши стан и вперив в меня свинцовый взгляд, отчеканил:

— Господин Рыбаков, я больше не нуждаюсь в ваших услугах. В ваше отсутствие я нанял другого секретаря и вполне удовлетворен сотрудничеством с ним.

Слова Дантеса были для меня как пощечина. Говоря, что предпочитает мне другого секретаря, Жорж Дантес предавал меня! Униженный, низведенный до положения выставляемого за дверь слуги, я забормотал:

— Очень хорошо… рад… рад за вас… понимаю…

В эту минуту постучали в маленькую дверь в глубине кабинета.

— Войдите! — крикнул Дантес.

Из конурки, где я некогда разбирал папки с бумагами, касающимися франко-русских отношений, показался совсем юный на вид коротконогий блондин, кругленький и розовый. Он просеменил к столу с бумагами в руках.

— Простите, вынужден был побеспокоить вас, господин барон, — угодливо склонился он перед хозяином дома.

— Ничего, ничего, — бросил Дантес свысока.

— Хотелось бы представить на ваше рассмотрение вот эту вот служебную записку, датированную 1832 годом…

— Положите здесь… Благодарю… Посмотрю ее чуть позже. Хочу представить вам вашего предшественника: господин Александр Рыбаков — господин Морис Туре…

Я пожал вялую влажную руку блондинчика. Он казался еще более растерянным, чем я, но в плачевном положении находился не он… ему-то на что было жаловаться? Зато я — я словно бы увидел перед собой свой промах внезапно материализовавшимся, свою неудачу, так сказать, «живьем». Этот самый Морис Туре стал ее доказательством, стал ее символом. Но от чего я так страдаю? От того, что лишился доверия барона? А разве не я делал ставку на его смерть? Мне было непонятно, как ни силился понять, что огорчало меня больше: то, что не хватило отваги его убить, или то, что меня прогоняют из дома, из семьи… При мысли о невозможности отныне прийти в дом номер 27 по авеню Монтеня я испытывал ощущение, будто меня ограбили, будто у меня похитили нечто драгоценное, и все это казалось ужасно несправедливым. Сраженный таким внезапным ударом, я на какое-то время замер, почти не дышал, колени мои подгибались. А придя в себя, церемонно раскланялся и вышел из особняка Дантеса в последний раз.

Домой я шел как сомнамбула, ослепленный солнцем, натыкаясь на прохожих. Все следующие дни с трудом удерживался, чтобы не помчаться на авеню Монтеня и не бродить вокруг особняка под номером 27, потому что желание бежать туда было постоянным. Париж был немыслимо возбужден противоречивыми сведениями в прессе. Однажды утром я узнал, что посол Испании официально известил французское правительство об отказе принца Гогенцоллерна от притязаний на испанский престол. И сразу же после этой новости те же газеты обличили макиавеллизм прусского короля, который, дескать, не дает гарантий, что принц Леопольд в будущем снова не заявит о подобных притязаниях. В верхах творилось Бог знает что: присланная Вильгельмом I из Эмса Бисмарку депеша была сочтена оскорбительной для чести Франции, результатом стал взрыв народного гнева. Что это? Еще мир или уже первые шаги к противостоянию? Канцелярии посольств европейских стран пришли в волнение. Патриотический порыв, охвативший парижан, привел к тому, что улицы выглядели так, словно у всех приступ бешенства. Больше не могло быть и речи о критике в адрес Империи. Сердце нации билось во дворце Тюильри. Стихийно формировались манифестации, люди шли с криками: «На Берлин!» Даже полицейские в мундирах распевали «Марсельезу».

Я был выбит из колеи, делать стало совсем уже нечего — ну и потащился в танцевальный зал «Мабилль», надеясь встретить там Адель. Встретил. Она сидела за столиком в саду между двумя сержантами в мундирах с тяжелыми эполетами и в красных форменных штанах. Сержанты лапали ее и ржали, она тоже хихикала. Заметив меня издалека, эта шлюха сделала знак, что, дескать, занята и не может пойти со мной. На танцплощадке яблоку негде было упасть. Мужчины — почти сплошь военные. Все они, пьяные и возбужденные, смешавшись с толпой таких же пьяных и возбужденных публичных девок и сутенеров, отплясывали под мелодию «Прощальной песни», малость переиначенной ради такого случая. Вскоре Адель вместе с прочими закружилась в танце и несколько раз пронеслась мимо меня, влекомая оглушительной музыкой оркестра. Размалеванное лицо ее было в поту, глаза лучились радостью — ни дать ни взять вакханка-патриотка! Время от времени она вслед за другими выкрикивала: «Смерть пруссакам!» Мне она показалась мерзкой, уродливой и глупой, и я расстроился. Решительно мне здесь не место — в этом зале, в этом городе, в этой стране! Покидая «Мабилль», я поклялся, что ноги моей здесь больше не будет.

Назавтра весь город упивался заявлением военного министра маршала Лебёфа, который, получив запрос парламента касаемо средств нападения и обороны, имеющихся у французской армии, гордо ответил, что готово всё — «до последней пуговицы на гетрах солдат». Единодушное мнение было — маршалу можно верить, а с такими силами достаточно будет дунуть в сторону врага, чтобы обратить его в бегство. Чуть позже, 19 июля, министр иностранных дел герцог де Грамон объявил Законодательному собранию, что с сегодняшнего дня Франция и Пруссия находятся в состоянии войны.

Как только новость распространилась по городу, энтузиазм парижан возрос так, что стал граничить с бредом. Дома расцветились флагами, незнакомые люди целовались на улицах. Женщины с безумными лицами орали до хрипоты: «Да здравствует Франция!» И везде, на каждом перекрестке — «Марсельеза». Я не смог противостоять искушению и отправился на авеню Монтеня посмотреть, куда ветер дует там. Толпа — хоть на тротуарах, хоть на мостовых — была такая плотная, что мне приходилось буквально пробивать дорогу, действуя плечом как тараном. У входа в особняк стояло множество экипажей, фасад украсили трехцветные флаги. Набравшись наглости, я попросил доложить о себе господину барону.

Салон был полон людей, они перешептывались между собой. Над людской массой возвышался надменный Жорж Дантес, который, как обычно, витийствовал. Заметив меня, он протянул два пальца и воскликнул:

— Великий день, месье Рыбаков, великий день! Героические французские солдаты смоют вражеской кровью оскорбления, нанесенные нашей родине Вильгельмом и Бисмарком. Мой сын, Луи Жозеф, несмотря на ранения, полученные во время Мексиканской кампании, решил вернуться на военную службу. Говорят, император взял на себя командование армией. Что до меня, я намерен отправиться в Сульц и оставаться там, среди моих дорогих подопечных, пока бушует война. В это трудное время мое место — это совершенно очевидно! — рядом с населением приграничных территорий. Тем хуже для заседаний Сената! В Люксембургском дворце придется обойтись без меня. Никогда я не испытывал такой гордости тем, что родился французом!

Последних слов почти не было слышно из-за разразившейся овации. Затем какие-то важные господа выступили с суровыми речами в адрес Тьера, обвиняя его в поистине возмутительном пессимизме, и одобрили твердость премьер-министра Эмиля Оливье. Я поискал глазами пепельную барышню — и нашел ее спрятавшейся в уголке у буфета, откуда, она, видимо, наблюдала за тем, как обслуживают гостей: должно быть, только потому экономка и была допущена в гостиную. Бедняжка Изабель казалась до смерти напуганной шумными проявлениями собравшихся. Воспользовавшись суматохой, прикрываясь неумолчным жужжанием голосов, я подошел и шепнул ей на ушко:

— Они выглядят такими уверенными в себе!..

Мадемуазель Корнюше покачала изящной фарфоровой головкой и прошептала в ответ:

— Боже… сколько крови прольется…

Я подумал, что в этом собрании воинствующих безумцев она одна права. И, почувствовав, сколь несоразмерны угроза массовой бойни и идея частного, отдельного убийства, которая преследовала меня несколько месяцев назад, того самого убийства, что я намерен был совершить, ощутил задним числом стыд. Пока в министерствах и генеральных штабах готовились принести в жертву тысячи и тысячи юных драгоценных жизней, я мечтал избавить мир от старика, затеявшего нелепую историю в другую эпоху и в другой стране… Как хорошо, что я вовремя очнулся от этого кошмара!

Изабель спросила:

— А что вы станете делать теперь?

— Пока не знаю, — ответил я.

— Вам следует вернуться на родину…

— Я не буду там счастливее, чем здесь!

— Но во Франции война… Никто не знает, что с нами будет…

— Неужели вы не верите в победу, мадемуазель?

— О, верю! Конечно, верю!.. Но я боюсь… Уезжайте, сударь… уезжайте поскорее!.. — с жаром воскликнула она. А потом тихонько добавила: — Мне будет вас не хватать…

Наши глаза встретились. Я на секунду ощутил острый прилив счастья, но эта искорка угасла так же быстро, как зажглась. Если бы она была лет на десять моложе, если бы я не был русским, если бы Жорж Дантес не стоял у меня на пути… — может быть, я полюбил бы ее? В залитой светом бурлящей гостиной Изабель напоминала жертву. Никто ею не занимался, никого она не интересовала, никто, кроме меня, даже и не видел ее.

В горле у меня пересохло, и я забормотал:

— Я вернусь… я непременно вернусь…

— Да, — все так же тихо откликнулась она и улыбнулась какой-то болезненной улыбкой. —

Непременно. После победы!

Я взял ее руку и припал к ней долгим поцелуем — вопреки всем правилам хорошего тона, согласно которым подобная честь оказывается лишь замужним женщинам. Потом отпустил эту нежную руку, повернулся на каблуках и вышел, даже не попрощавшись с Жоржем Дантесом.

На следующее утро я поспешил в российское посольство на улице Гренель. Генеральный консул Захар Донауров оказался слишком занят «событиями», чтобы принять меня, но с моим делом охотно согласился познакомиться атташе в безупречном костюме и с весьма взволнованным лицом. Этот господин посоветовал мне как можно скорее покинуть Францию.

— Будущее темно и туманно, — сказал он. — Российским подданным в настоящий момент совершенно нечего тут делать. Тем более что Россия не одобряет намерения Франции объявить Пруссии войну. Советую вам воспользоваться морским путем. Вы можете сесть на корабль в Гавре. Многие ваши соотечественники уже приняли все необходимые меры и готовятся к отплытию. Оставьте мне ваши бумаги, я сделаю все, что нужно…

Вернувшись в пансион, я сел и задумался. Следовало подвести итоги моей экспедиции, извлечь урок из пребывания вне России и встречи с убийцей Пушкина. Вывод оказался горестным: провал по всем линиям, решил я. Но все-таки меня не оставляло странное ощущение, что во Францию я приезжал не напрасно.

Глава X

Все, что было дальше, не особенно интересно. Вернувшись в Россию, но продолжая следить за происходящим во Франции, я растерянно и с глубоким огорчением узнавал одну дурную новость за другой: поражение во Франко-прусской войне, плен Наполеона III, провозглашение Республики, осада Парижа, злодейства Коммуны, установление посреди рек крови вожделенного порядка… Я был потрясен, я был подавлен… И думал: но что же сталось при всех этих беспорядках с Жоржем Дантесом… А с Даниэлем де Рошем? Последнему я написал к добрейшей мадам де Патюрон, написал без надежды на ответ. И — получил ответ! Даниэля освободили из застенка, взяли в армию — в пехоту, он участвовал в защите Парижа, стрелял на баррикадах… Когда в стране все успокоилось, Даниэль вернулся к журналистике, но теперь работает в «Constitutionnel». Приятель сообщил мне кое-какие сведения о Жорже Дантесе. Насколько ему было известно, глубоко задетый падением Империи, барон окончательно удалился от общественной деятельности, ведет приятную, но тихую жизнь в кругу семьи, вес его в финансовых кругах по-прежнему велик, а время он проводит либо в Париже, либо в Сульце. В следующем послании я решился попросить моего корреспондента узнать хоть что-то о мадемуазель Изабель Корнюше. Безуспешно: Даниэль не смог получить никакой информации. Меня это не удивило. Даже не слишком огорчило. Как обычно, Изабель растворилась в окружении. Этого надо было ждать: пепельная барышня родилась на свет не для того, чтобы привлекать внимание.

День ото дня Франция все больше от меня удалялась. Здоровье мое совсем уже восстановилось, матушка и друзья помогли окунуться в русскую действительность и почувствовать твердую почву под ногами. Меня теперь не тревожило, что убийца Пушкина живет среди нас, впрочем, и стихи моего прежнего идола я перечитывал все реже. Я оставил это наслаждение другим, а сам вступил в важную и ответственную должность в Министерстве иностранных дел, всерьез озаботился своею карьерой, стал потихоньку, шаг за шагом одолевать ступеньки иерархической лестницы.

И вот я уже статский советник. Кончина матушки, случившаяся в 1877 году, причинила мне такое горе, что и до сих пор я не совсем оправился от него. Единственным утешением было унаследованное мною от драгоценной моей родительницы имение Вознесенское, которое оказалось в превосходном состоянии. Некоторое время спустя я женился — как матушкой и предполагалось, на моей кузине, Валерии Смирновой. Супруга моя — создание кроткое и приятное во всех отношениях. Дом наш в Санкт-Петербурге всегда полон гостей, и жена моя царит среди всех с присущей ей грацией, умом и тактом. Слава Богу, мне не в чем упрекнуть мою супругу: она подарила мне двух прекрасных дочерей, Веру и Ольгу, у них отличное приданое, стало быть, проблем с замужеством не будет, и сына — Павла, старшего из моих отпрысков, достигшего ныне возраста пятнадцати лет. На сына я возлагаю чрезвычайно большие надежды. Он обессмертит мое имя. Имя… Имя — это необычайно важно! Куда важнее, чем я полагал, будучи молодым.

Пишу эти строки в самом разгаре зимы в своем наглухо законопаченном и жарко натопленном кабинете в милом нашем Вознесенском. Мы приехали сюда после Рождества, останемся все святки. Снаружи все бело, земля и небо, а между небом и землей — черные деревья с извилистыми ветвями… Вижу из окна сани, они удаляются от нашего крыльца по серой аллее, по разъезженному снегу, и чем дальше упряжка от дома, тем глуше звон колокольцев под дугой: это моя жена с дочерьми отправились к соседям на костюмированный бал. Мой сын Павлуша едет рядом с санями верхом — он отлично держится в седле. Дети садовника играют в снежки близ купы ветел у застывшего пруда. Они играют тихо, приученные к мысли, что нельзя беспокоить барина, мешать его работе. Все в порядке, все хорошо. Я должен быть счастлив. Но я несчастлив, в груди моей живет боль, живет постоянно, неотступно, живет много лет. И, подобно застарелому ревматизму, порой дает себя чувствовать особенно остро. Никогда человеку не вылечиться от своей юности!..

Со времени моей французской авантюры прошло четверть века. Здесь бы и закончить рассказ, который я решил записать худо-бедно в часы досуга в особой тетради. Однажды ее страницы перелистает мой сын Павел Александрович — разумеется, если предположить, что у сына моего появится желание узнать своего родителя получше. История моя закончена. Но я решил добавить еще несколько строчек, ибо нежданное происшествие вдруг резко отбросило меня назад во времени. Сегодня утром я получил письмо от Даниэля де Роша, известившего меня, что в возрасте восьмидесяти трех лет скончался барон Жорж де Геккерен д’Антес. Барон умер 2 ноября 1895 года в Сульце, окруженный детьми и внуками. Идеальная, можно сказать, желаемая себе каждым смерть. Отнюдь не такая, какую я желал в свое время навязать ему.

И вот с той минуты меня преследуют воспоминания. Никак и по сей день не верится, что я готов был на все из преданности тени, призраку. Что тогда со мною было? Когда я сравниваю себя нынешнего, сорокашестилетнего господина с дородным телом, скептическим умом, буржуазными интересами и семейными радостями, с тем безумцем, который явился в дом номер 27 по авеню Монтеня с револьвером в кармане, то испытываю ощущение трагического раздвоения личности. Сам того не желая, сам не понимая, как это произошло, с возрастом я оказался в одном лагере с человеком, которого хотел убить. Я, как и он, был когда-то пылким юношей, обладавшим свежестью чувств и горячностью суждений, сердце мое было способно далеко завести меня, но, подобно моей

несостоявшейся жертве, я познал официальные почести, сладость домашнего уюта и богатства. На той ступени успеха, на коей я сейчас нахожусь, самое сокровенное, самое дорогое моему сердцу желание — упокоиться в мире как можно позже, упокоиться во Христе, не потеряв уважения общества, почитаемым и любимым своими близкими. Как пресловутый барон. Надо ли из сказанного заключить, будто всякий человек, заканчивающий жизнь свою в относительном благополучии, есть, сам того не ведая, Жорж Дантес? Заслуживает ли каждый из нас, достигнув зрелых лет, чтобы постучался в нашу дверь подросток с дерзким взглядом и оружием в руке и чтобы упрекнул он нас в том, что мы предали нашу юность? Несколько поразмыслив обо всем этом, я написал и отправил Луи Жозефу, сыну барона Жоржа Дантеса, три строчки искреннего, но банального соболезнования.

О книге

Книга подготовлена пользователями библиотеки . Читайте или скачивайте эту и другие книги на сайте библиотеки бесплатно и без регистрации.

Адрес публикации:

Примечания

1

Лицей, каким его знал и любил Пушкин, просуществовал всего 32 года. Шестого ноября 1843 года последовал данный Сенату приказ, в котором говорилось: «Признав за благо находившийся временно в военном ведомстве Императорский Царскосельский Лицей ввести по-прежнему в общее устройство гражданских учебных заведений, повелеваю: 1) Причислить этот лицей к заведениям под личным моим надзором находящимся по IV отделению Собственной моей канцелярии. 2) Главное оным заведование поручить принцу Петру Ольденбургскому. 3) Высшее сие училище переименовать в Императорский Александровский Лицей и переместить из Царского Села в Санкт-Петербург, в здание, занимаемое ныне Александрийским Сиротским Домом; здание же в Царском Селе занимавшееся возвратить в дворцовое ведомство». Так что герой романа и впрямь учился в совершенно другом месте, что, впрочем, не умаляет достоинств художественного произведения… (*Примеч. переводчика*).

2

Коллежский секретарь — в России гражданский чин 10-го класса. Лица, его имевшие, занимали низшие руководящие должности. *(Примеч. переводчика.)*

3

В то время (1852–1870) страной правил Шарль Луи Бонапарт, император Франции из рода Бонапартов, сын короля Голландии Людовика и Гортензии Богарнэ. Последние годы правления Луи Наполеона прошли под знаком реформ, на которые он должен был решиться ввиду подъема либерального движения. В 1867 г. была восстановлена свобода печати и собраний. В 1869 г. император внес в сенат проект новой конституции, значительно расширявшей права представительных органов: Законодательный корпус получил право законодательной инициативы, обсуждения и квотирования законопроектов и бюджета. Министерства были подчинены контролю палат. *(Примеч. переводчика.)*

4

Хотя ром в Россию ввезли только в петровские времена, знатоки утверждают, что и сам он, и все замешанные на нем напитки домашнего приготовления — жженка, пунш, глинтвейн, грог, — как свидетельствует классическая русская литература (прежде всего — Пушкин и Толстой), прижились у нас раньше и прочнее, чем коньяк, не говоря уж о виски. *(Примеч. переводчика.)*

5

Шатон — *здесь:* именно та часть перстня, оттиск которой на воске, которым запечатано письмо, мог бы указывать на отправителя. *(Примеч. переводчика.)*

6

Здесь, несомненно, содержится намек на кольца декабристов, выполненные в 1830-е годы из кандального железа сибирскими изгнанниками братьями Бестужевыми для своих собратьев. Нельзя не отметить, что француженка Полина Гебль, которая вышла в Сибири замуж за декабриста Ивана Анненкова (венчание состоялось в Чите, в присутствии охраны и друзей-декабристов, жених был в кандалах. — См. роман Анри Труайя «Свет праведных», ЭКСМО, 2007), а вслед за нею и другие декабристки до конца жизни носили кольца, сделанные из кандалов мужей, — в знак верности супругу-каторжнику и уважения к его страданиям. *(Примеч. переводчика.)*

7

Штеттин (Штетин, Stettin) — бывшее немецкое название польского города Щецин в низовьях реки Одры, в 65 км от Балтийского моря. Брокгаузовская статья (конец XIX века), посвященная этому порту, звучит так: «…главный город провинции Померания, на реке Одер, 224 тысячи жителей, крупный порт и промышлен. центр Померании (машины, винокур., химич. произв., сахар). Два музея; биржа; верфи; коммерческий флот: 100 пароходов и 32 парусных судна. Основан в XI в., в XIV в. принадлежал к Ганзейскому союзу, в 1618 году отошел к Швеции, с 1720-го принадлежит Пруссии». *(Примеч. переводчика.)*

8

«Век» *(франц.).*

9

Проезд Двенадцати Домов просуществовал до 1881 года, затем был разрушен, и нумерация домов на авеню Монтеня при этом переменилась: дом номер 27 стал домом номер 17. *(Примеч. автора.)*

10

А. С. Пушкин. «Адели» (1822). *(Примеч. переводчика.)* Считается, что это стихотворение Пушкин посвятил юной Адели Давыдовой. *(Примеч. автора.)*

11

Перейр (Pereire), братья Эмиль (1800–1875) и Исаак (1806–1880) — французские банкиры. Основание их богатству положила железная дорога в Сен-Жермен, отданная им с публичного торга. В 1867 г. они основали общество Credit mobilier. И тот, и другой, как и сын Исаака, Эжен Перейр, были депутатами в законодательном корпусе. *(Примеч. переводчика.)*

12

А. С. Пушкин «Кинжал» (1821).

13

Fashionable — модный, стильный; светский; фешенебельный *(англ.).*

14

Банвиль (Banville) Теодор де (1823–1891) — французский писатель. В его сборниках «Акробатические оды» (1857) и «Новые акробатические оды» (1869) выражено критическое отношение к буржуазному миру, но преимущественно в эстетическом плане. В творчестве Банвиля звучали и политические мотивы («Прусские идиллии», 1871); сборник «Парижские камеи» (1866–1873) содержит стихотворные портреты борцов Коммуны. В «Маленьком трактате о французской поэзии» (1872) Банвиль пытался обосновать принцип «искусства для искусства». *(Примеч. переводчика.)*

15

А. С. Пушкин «Кинжал» (1821).

16

Если верить современникам, несколько десятилетий спустя после дуэли Дантес самодовольно представлялся русским во Франции так: «Барон Геккерен (Дантес), который убил вашего поэта Пушкина». *(Примеч. переводчика.)*

17

Легитимист — приверженец законной династии. *(Примеч. переводника.)*

18

Июльская монархия — период в истории Франции от Июльской революции 1830-го, покончившей с режимом Реставрации, до Февральской революции 1848 г., установившей Вторую республику. *(Примеч. переводчика.)*

19

А. С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836). *(Примеч. автора.)*

20

Пайон — река, точнее бегущий с гор поток, который делил когда-то Ниццу на две части: на востоке располагались старые кварталы, на западе — новые, современные. Сейчас реку почти и не увидишь: с 1868 года в центре города ее упрятали под землю, и о ней напоминает лишь название бульвара Promenade de Paillon, но на уровне сада Альберта I Пайон впадает в море. *(Примеч. переводчика.)*

21

Династия Гогенцоллернов — немецкий княжеский род. С 1871 по 1918 г. прусские короли из династии Гогенцоллернов были одновременно немецкими императорами. После победы в Австро-прусской войне 1866 года Пруссия стремилась объединить все германские земли под своей эгидой, а также ослабить Францию, Франция же старалась помешать образованию единой и сильной Германии. Формальным поводом к войне стали претензии на испанский престол, которые выдвинул родственник Вильгельма Прусского Леопольд Гогенцоллерн и тайно поддерживал Отто фон Бисмарк. В Париже были возмущены притязаниями Леопольда. Наполеон III заставил Гогенцоллерна отказаться от испанского престола, а после этого посол Наполеона потребовал, чтобы этот отказ одобрил и сам Вильгельм. Это требование нарушало правила дипломатического этикета. Вильгельм ответил отказом и послал Бисмарку телеграмму с рассказом о своей встрече с французским посланником. Бисмарк воспринял «Эмскую депешу» как сигнал к незамедлительным действиям. Он немедленно дал указания опубликовать ее в газетах, подправив таким образом, что она теперь выглядела оскорбительно для Франции. 13 июля началась мобилизация во Франции, 16 июля — в Германии. 19 июля 1870 г. Наполеон III объявил Пруссии войну. *(Примеч. переводчика; по материалам Википедии.)*

22

Constitutionnel — сторонник конституционной партии *(франц.).*